

# НАДЕЖДА ТЭФФИ

О ЛЮБВИ  
(СБОРНИК)

Надежда Тэффи  
**О любви (сборник)**

«Public Domain»

## **Тэффи Н.**

О любви (сборник) / Н. Тэффи — «Public Domain»,

Любовь рождается неожиданно и так же неожиданно исчезает, как будто и не было вовсе. И для чего? Ведь остается только горько-сладкое послевкусие разочарования от несбывшихся надежд...

## Содержание

Рассказы	6
Любовь	6
Счастливая любовь	10
О вечной любви	13
Любовь и весна	16
Жених	21
Атмосфера любви	25
Виртуоз чувства	28
Самоотверженная любовь	31
Весна	33
Счастливая	35
Ревность	37
Брошечка	40
Была весна...	43
Сирано де Бержерак	46
Сватовство	51
Вендетта	54
«Джинджер»	57
Потаповна	60
Легенда и жизнь	63
I. Легенда	63
II. Жизнь	64
Жена	66
Флирт	71
Весна весны	78
О душах больших и малых	82
1. Анет	82
2. Джой	82
3. Фанни	83
4. В трамвае	84
Чудо весны	85
Авантюрный роман	89
1	89
2	92
3	96
4	99
5	101
6	103
7	108
8	110
9	114
10	117
11	121
12	125
13	129
14	131

15	135
16	139
17	142
18	144
19	148
20	150
21	152
22	155
23	158
24	161

# Надежда Тэффи

## О любви (сборник)

### Рассказы

#### Любовь

Это были дни моей девятой весны, дни чудесные, долгие, насыщенные жизнью, полные до краев.

Все в эти дни было интересно, значительно и важно. Предметы были новы, люди были мудры, знали удивительно много и хранили свои великие темные тайны до какого-то неведомого мне срока.

Радостно начиналось утро каждого долгого дня: тысячи маленьких радуг в мыльной пене умывальника, новое, легкое, светлое платье, молитва перед образом, за которым еще не засохли новые вербочки, чай на террасе, уставленной вынесенными из оранжереи кадками с лимонными деревьями, старшие сестры, чернобровые, с длинными косами, еще непривычные, только что приехавшие на каникулы из своего института, и хлопанье вальков на пруду за цветником, где звонкими голосами перекликаются полошущие белье бабы, и томное кудахтанье кур за купой молодой, еще мелколистной сирени; все само по себе было ново, радостно и, кроме того, обещало что-то еще более новое и радостное.

И вот в эту весну, девятую в моей жизни, пришла ко мне моя первая любовь, пришла, прошла и ушла вся целиком – с восторгом и болью и разочарованием, как и быть полагается каждой настоящей любви.

\* \* \*

Четыре девки в холщовых рубахах с расшитыми наплечниками, в запасках и монистах – Ходоска, Параска, Пидорка и Ховра – пололи в саду дорожки. Скребли, чиркали лопатками свежую черную землю, переворачивали плотными маслянистыми ломтями, отдирали цепкие, трескучие, тонкие, как нервы, корешки.

Я целыми часами, пока не позовут, стояла и смотрела и вдыхала душный, сырой запах земли.

Монисты мотались и звякали, загорелые первым красным загаром руки легко и весело скользили по деревяшкам лопат.

И вот как-то вместо Ховры, белесой, коренастой, с красной тесьмой вокруг головы, я увидела новую, высокую, гибкую, узкобедрую.

– Новая, а вас как зовут? – спросила я.

Темная голова с узким белым пробором, обмотанная плотными четырехрядными косами, поднялась, и глянули на меня из-под круглых союзных бровей лукавые темные глаза, и усмехнулся румяный веселый рот:

– Ганка!

И зубы блеснули, ровные, белые, крупные.

Сказала и засмеялась, и все девки засмеялись, и мне тоже стало весело.

Удивительная была эта Ганка! Чего она смеялась?! И отчего от нее так хорошо и весело? Одетая хуже, чем франтиха Параска, но толстая полосатая запаска так ловко обтягивала узкие

стройные бедра, красный шерстяной кушак так беспокойно и крепко сжимал талию, и зеленая тесемочка так ярко дрожала у ворота рубашки, что, казалось, лучшего ничего и придумать было бы нельзя.

Я смотрела на нее, и каждый поворот ее гибкой темной шеи пел, как песня, в моей душе. И вдруг снова сверкнули глаза, лукавые, щекотные, засмеялись и потупились.

Я удивлялась на Параску, Ходоску, Пидорку – как они могут не смотреть на нее все время и как они смеют обращаться с ней как с равной! Разве они не видели, какая она? Да и сама она как будто думает, что она такая же, как и другие.

А я смотрела на нее недвижно, бездумно, точно сон видела.

Издалека голос позвал меня. Я знала, что это зовут на урок музыки, но не откликнулась.

Потом видела, как по соседней аллее прошла мама с двумя чужими нарядными дамами. Мама позвала меня. Нужно было подойти и сделать реверанс. Одна из дам подняла мое лицо за подбородок маленькой рукой, затянутой в душистую белую перчатку. Дама нежная, белая, кружевная, и, глядя на нее, Ганка показалась мне грубой, шершавой.

– Она нехорошая, Ганка.

Я тихо побрела домой.

На другое утро спокойно, просто и весело пошла посмотреть, где сегодня полют дорожки.

Темные милые глаза встретили меня так же ласково и весело, как будто ничего не произошло, как будто не изменила я им из-за душистой, кружевной дамы. И снова певучая музыка движений стройного тела завладела, запела, зачаровала.

За завтраком говорили о вчерашней гостье, графине Миончинской. Старший брат искренно восхищался ею. Он был простой и милый, но так как воспитывался в лицее, то должен был, говоря, растягивать слова, присюсюкивать и на ходу слегка волочить правую ногу. И здесь летом в деревне, вероятно, боясь утратить эти стигматы дендизма, немало удивлял нас, маленьких, своими повадками.

– Графиня ди-ивно хороша! – говорил он. – Она была первой красавицей этого сэ-эзона.

Брат-кадет спорил:

– Ничего не нахожу в ней особенного. Жантильничает, а у самой лапища, как у бабищи, которая коноплю мочила.

Старший облил кадета презрением:

– Qu'est ce que c'est lapicha? Qu'est ce que c'est ba-bicha? Qu'est ce que c'est konoplia?<sup>1</sup>

– Вот кто действительно красавица, – продолжает кадет, – это – Ганка, которая в саду работает.

– Пшш!

– Конечно, она плохо одета, но надень на нее кружевное платье да перчатки, так она этой графине десять очков вперед даст.

У меня так забилося сердце, что я даже глаза закрыла.

– Как можно говорить такой вздор, – обиделась за графиню сестра Вера. – Ганка грубая, с плохими манерами. Она, наверное, ест рыбу ножом.

Я мучилась ужасно. Казалось, что сейчас что-то откроется, какая-то моя тайна, – а в чем эта тайна, я и сама не знала.

– Ну это, положим, к делу не относится, – сказал старший брат. – У Елены Троянской тоже не было гувернанток, и рыбу она ела даже не ножом, а прямо руками, и тем не менее ее репутация мировой красавицы очень прочна. Что с тобой, Кишмиш, чего ты такая красная?

Кишмиш – было мое прозвище, и я отвечала дрожащим голосом:

– Оставьте меня в покое... я ведь вас не трогаю! а вы все... ко мне всегда придираетесь.

---

<sup>1</sup> Что такое лапища? Что такое бабища? Что такое конопля? (*фр.*, искаж. *рус.*). – *Ред.*

Вечером в темной гостиной, лежа на диване, я слушала, как мама играла в зале любимую мою вещь – каватину из оперы «Марта». В мягкой, нежной мелодии было что-то, что вызывало и повторяло во мне то певучее томление, которое было в движениях Ганки. И от сладкой муки, музыки, печали и счастья я плакала, уткнувшись лицом в подушку дивана.

\* \* \*

Утро было серенькое, и я испугалась, что будет дождь и меня не пустят в сад. Меня не пустили.

Грустно села я за рояль и стала играть экзерсисы, сбиваясь каждый раз на том же месте. Но перед завтраком выглянуло солнце, и я кинулась в сад.

Девки только что побросали лопаты и сели полдничать. Достали обвязанные тряпками горлачи и казанки, стали есть кто кашу, кто кислое молоко. Ганка развязала узелок, достала краюху хлеба и головку чесноку, потеряла чесноком корочку и стала есть, поблескивая на меня лукавыми глазами.

Я испугалась и отошла. Очень было страшно, что Ганка ест такую гадость. Этот чеснок точно отодвинул ее от меня. Непонятной и очень чужой стала она мне. Уж лучше бы рыбу ножом...

Я вспомнила, что брат говорил о Елене Прекрасной, но не утешилась и побрела домой.

У черного крыльца сидела няня, вязала чулок и слушала, что ей рассказывает ключница.

Я услышала слово «Ганка» и притихла. Знала по опыту, что если подойду, то или меня отошлют, или разговаривать перестанут.

– Всю зиму у управляющих прослужила. Девка работающая. Однако замечает управляющих: что ни вечер, у ней солдат сидит. Раз выгнала, два выгнала, каждый раз не нагоняешься.

– Известное дело, – соглашается няня, – где ж каждый раз нагоняться-то.

– Ну и ругала ее, конечно, и все. А той что – только хохочет. А под Крещение слышит управляющих, будто Ганка в кухне что-то переставляет, не то что. А утром слышит – пищит что-то. Пошла в кухню – Ганки нет, а на постели в тряпках ребеночек пищит. Испугалась управляющих, ищет Ганку, куда, мол, она уползла, не случилось ли чего худого.глянула в окно – ан Ганка-то у проруби босая стоит, белье свое полощет и песню поет. Хотела ее управляющих прогнать, да жалко стало, что уж больно девка здорова!

Я тихо отошла.

Значит, Ганка знакома с простым необразованным солдатом. Ужас, ужас. И потом она мучила какого-то ребеночка. Тут что-то уж совсем темное и страшное. Она его где-нибудь стащила и спрятала в тряпках, а когда он запищал, она побежала к проруби песни петь.

Я тосковала весь вечер, а ночью видела сон, от которого проснулась в слезах. Но сон был не грустный и не страшный, и плакала я не от горя, а от восторга. Проснувшись, я плохо помнила его и рассказать не могла.

– Снилось мне лодка, совсем прозрачная, голубая; она проплыла через стену прямо в серебряные камыши. Это были все стихи и музыка.

– Да ты чего реवेशь-то, – удивлялась няня. – Лодка приснилась, так уж и реветь. Может, это еще к хорошему, лодка-то.

Я видела, что она не понимает, а рассказать и объяснить я больше ничего не могла. А душа звенела, и пела, и плакала от восторга. Голубая лодка, серебряный камыш, стихи и музыка...

В сад не пошла. Было страшно, что увижу Ганку и начну думать про жуткое, непонятное – про солдата и ребеночка в тряпках.

День потянулся беспокойный. На дворе гулял ветер, гнул деревья, и те мотали ветками, и листья на них сухо кипели шумом морской пены.



В коридоре около кладовой новость: на столе откупоренный ящик с апельсинами. Это значит, сегодня привезли из города и подадут после обеда.

Я обожаю апельсины. Они круглые и желтые, как солнце, а под шкуркой у них тысячи крошечных мешочков, налитых душистым сладким соком. Апельсин радость, апельсин красавец.

И вдруг мне вспомнилась Ганка. Она ведь не знает апельсина. Теплая нежность и жалость согрели сердце.

Бедненькая! Не знает. Дать бы ей хоть один. Да как быть? Взять без спросу немислимо. Спросить, скажут – за обедом получишь. А унести от обеда нельзя. Не позволят, либо спросят, а не то так еще и сами догадаются. Может быть, смеяться станут... Нет, надо просто взять, да и все тут. Ну накажут, не дадут больше, и все тут. Чего бояться.

Круглый, прохладный, приятный, он у меня в руке.

Как могла я это сделать? Воровка! Воровка! Ничего. Потом, потом все это разберется, а сейчас – скорее к Ганке.

Девки пололи у самого дома, у черного крыльца.

– Ганка! Это вам, вам. Попробуйте... это вам.

Смеется румяный рот.

– Це шо?

– Апельсин. Это для вас.

Вертит в руке. Не надо ее стеснять.

Я побежала домой и, высунувшись через окно коридора, смотрела, что будет. Хотела пережить с ней ее удовольствие.

Она откусила кусок прямо со шкуркой (чего же я не вычистила!) и вдруг распялила рот и, вся уродливо сморщившись, выплюнула и отшвырнула апельсин далеко в кусты. Девки окружили ее, смеясь. А она все морщилась, мотала головой, плевала и вытирала рот рукавом шитой рубахи.

Я сползла с подоконника, быстро прошла в темный угол коридора и там, забившись за большой крытый пыльным ковром сундук, села на пол и заплакала.

Все было кончено. Я стала воровкой, чтобы дать ей самое лучшее, что я только знала в мире. А она не поняла и плюнула.

Как изжить это горе и эту обиду?

Я плакала, сколько слез хватило. Потом, кроме мысли о моем горе, мелькнула новая:

– Нет ли за сундуком мыши?

Этот страх вошел в душу, окреп, спугнул прежнее настроение и вернул к жизни.

В коридоре встретила няня. Она всплеснула руками:

– Платье-то, платье-то все как есть завалила! Да ты никак опять плачешь?

Я молчала. Сегодня утром человечество не поняло моих серебряных камышей, которые мне так хотелось объяснить. А «это» – это даже и рассказать нельзя. В «этом» я должна быть одинока.

Но человечество ждало ответа и трясло меня за плечо. И я отгородилась от него, как сумела:

– Я не плачу. Я... у меня... у меня просто зуб болит.

## Счастливая любовь

Наталья Михайловна проснулась и, не открывая глаз, вознесла к небу горячую молитву: «Господи! Пусть сегодня будет скверная погода! Пусть идет дождь, ну хоть не весь день, а только от двух до четырех!»

Потом она приоткрыла левый глаз, покосилась на окно и обиделась: молитва ее не была уважена. Небо было чисто, и солнце катилось по нему как сыр в масле. Дождя не будет, и придется от двух до четырех болтаться по Летнему саду с Сергеем Ильичом.

Наталья Михайловна долго сидела на постели и горько думала. Думала о любви.

«Любовь – очень тяжелая штука! Вот сегодня, например, мне до зарезу нужно к портнихе, к дантисту и за шляпой. А я что делаю? Я бегу в Летний сад на свидание. Конечно, можно притвориться, что заболела. Но ведь он такой безумный, он сейчас же прибежит узнавать, в чем дело, и засядет до вечера. Конечно, свидание с любимым человеком – это большое счастье, но нельзя же из-за счастья оставаться без фулярового платья. Если ему это сказать, он, конечно, застрелится, – хо! Он на это мастер! А я не хочу его смерти. Во-первых, потому, что у меня с ним роман. Во-вторых, все-таки из всех, кто бывает у Лазуновых, он самый интересный...»

К половине третьего она подходила к Летнему саду, и снова душа ее молилась тайно и горячо:

«Господи! Пусть будет так, что этот дурак подождет-пождал, обиделся и ушел! Я хоть к дантисту успела бы!..»

– Здравствуйте, Наталья Михайловна!

Сергей Ильич догонял ее смущенный и запыхавшийся.

– Как? Вы только что пришли? Вы опоздали? – рассердилась Наталья Михайловна.

– Господь с вами! Я уже больше часа здесь. Нарочно подстерегал вас у входа, чтобы как-нибудь не пропустить.

Вошли в сад.

Няньки, дети, гимназистки, золотушная травка, дырявые деревья.

– Надоел мне этот сад.

– Адски! – согласился Сергей Ильич и, слегка покраснев, прибавил: – То есть, я хотел сказать, что отношусь к нему адски... симпатично, потому что обязан ему столькими счастливыми минутами!

Сели, помолчали.

– Вы сегодня неразговорчивы! – заметила Наталья Михайловна.

– Это оттого, что я адски счастлив, что вижу вас. Наташа, дорогая, я тебя три дня не видел! Я думал, что прямо не переживу этого!

– Милый! – шепнула Наталья Михайловна, думая про фуляр.

– Ты знаешь, ведь я нигде не был все эти три дня. Сидел дома как бешеный и все мечтал о тебе. Адски мечтал! Актриса Калинская навязала мне билет в театр, вот посмотри, могу доказать, видишь билет, – я и то не пошел. Сидел дома! Не могу без тебя! Понимаешь? Это – прямо какое-то безумие!

– Покажи билет... А сегодня какое число? Двадцатое? А билет на двадцать первое. Значит, ты еще не пропустил свою Калинскую. Завтра пойдешь.

– Как, неужели на двадцать первое? А я и не посмотрел, – вот тебе лучшее доказательство, как мне все безразлично.

– А где же ты видел эту Калинскую? Ведь ты же говоришь, что все время дома сидел?

– Гм... Я ее совсем не видел. Ну вот, ей-богу, даже смешно. А билет, это она мне... по телефону. Адски звонила! Я уж под конец даже не подходил. Должна же она понять, что я не

свободен. Все уже догадываются, что я влюблен. Вчера Марья Сергеевна говорит: «Отчего вы такой задумчивый?» И погрозила пальцем.

– А где же ты видел Марью Сергеевну?

– Марью Сергеевну? Да, знаешь, пришлось забежать на минутку по делу. Ровно пять минут просидел. Она удерживала и все такое. Но ты сама понимаешь, что без тебя мне там делать нечего. Весь вечер проскучал адски, даже ужинать не остался. К чему? За ужином генерал Пяткин стал рассказывать анекдот, а конец забыл. Хохотали до упаду. Я говорю: «Позвольте, генерал, я докончу». А Нина Павловна за него рассердилась. Вообще масса забавного, я страшно хохотал. То есть не я, а другие, потому что я ведь не оставался ужинать.

– Дорогой! – шепнула Наталья Михайловна, думая о прикладе, который закатит ей портниха. «Дорогой будет приклад. Самой купить, гораздо выйдет дешевле».

– Если бы ты знала, как я тебе адски верен! Третьего дня Верочка Лазунова зовет кататься с ней на моторе. Я говорю: «Вы, кажется, с ума сошли!» И представь себе, эта сумасшедшая чуть не вывалилась. На крутом повороте открыла дверь... Вообще тоска ужасная... о чем ты задумалась? Наташа, дорогая! Ты ведь знаешь, что для меня никто не существует, кроме тебя! Клянусь! Даже смешно! Я ей прямо сказал: «Сударыня, помните, что это первый и последний раз...»

– Кому сказал? Верочке? – очнулась Наталья Михайловна.

– Катерине Ивановне...

– Что? Ничего не понимаю!

– Ах, это так, ерунда. Она очень умная женщина. С ней иногда приятно поговорить о чем-нибудь серьезном, о политике, о космографии. Она, собственно говоря, недурна собой, то есть симпатична, только дура ужасная. Ну и потом, все-таки старинное знакомство, неловко...

– А как ее фамилия?

– Тар... А впрочем, нет, нет, не Тар... Забыл фамилию. Да, по правде говоря, и не полюбывал. Мало ли с кем встречаешься, не запоминать же все фамилии. У меня и без того адски много знакомых... Что ты так смотришь? Ты, кажется, думаешь, что я тебе изменяю? Дорогая моя! Мне прямо смешно! Да я и не видал ее... Я видел ее последний раз ровно два года назад, когда мы с тобой еще и знакомы не были. Глупенькая! Не мог же я предчувствовать, что встречу тебя. Хотя, конечно, предчувствия бывают. Я много раз говорил: «Я чувствую, что когда-нибудь адски полюблю». Вот и полюбил. Дай мне свою ручку.

«Как он любит меня! – умилилась Наталья Михайловна. – И к тому же у Лазуновых он, безусловно, самый интересный».

Она взглянула ему в глаза глубоко и страстно и сказала:

– Сережа! Мой Сережа! Ты и понять не можешь, как я люблю тебя! Как я истосковалась за эти дни! Все время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда – мысль о тебе. Знаешь, Сережа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз еще не успела открыть, как сразу почувствовала: «Сегодня я его увижу».

– Дорогая! – шепнул Сергей Ильич и, низко опустив голову, словно под тяжестью охлынувшего его счастья, посмотрел потихоньку на часы.

– Как бы я хотела поехать с тобой куда-нибудь вместе и не расставаться недели на две...

– Ну, зачем же так мрачно? Можно поехать на один день куда-нибудь, – в Сестрорецк, что ли...

– Да, да, и все время быть вместе, не расставаться...

– Вот, например, в следующее воскресенье, если хочешь, можно поехать в Павловск, на музыку.

– И ты еще спрашиваешь, хочу ли я! Да я за это всем пожертвую, жизнь отдам! Поедем, дорогой мой, поедем! И все время будем вместе! Все время! Впрочем, ты говоришь – в следу-

ющее воскресенье, не знаю наверное, буду ли я свободна. Кажется, Малинина хотела, чтобы я у нее обедала. Вот тоска-то будет с этой дурой!

– Ну что же делать, раз это нужно! Главное, что мы любим друг друга.

– Да... да, в этом радость. Счастливая любовь – это такая редкость. Который час?

– Половина четвертого.

– Боже мой! А меня ждут по делу. Проводи меня до извозчика. Какой ужас, что так приходится отрываться друг от друга... Я позвоню на днях по телефону.

– Я буду адски ждать! Любовь моя! Любовь моя!

Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел, как зачарованный, но уста его шептали совсем не соответствующие позе слова:

– «На днях позвоню». Знаем мы ваше «на днях». Конечно, завтра с утра трезвонить начнет! Вот связался на свою голову, а прогнать, – наверное, повесится! Дура полосатая!

## О вечной любви

Днем шел дождь. В саду сыро.

Сидим на террасе, смотрим, как переливаются далеко на горизонте огоньки Сен-Жермена и Вирофле. Эта даль отсюда, с нашей высокой лесной горы, кажется океаном, и мы различаем фонарики мола, вспышки маяка, сигнальные свету кораблей. Иллюзия полная.

Тихо.

Через открытые двери салона слушаем последние тоскливо-страстные аккорды «Умиряющего лебедя», которые из какой-то нездешней страны принесло нам радио.

И снова тихо.

Сидим в полутьме, красным глазком подымается, вспыхивает огонек сигары.

– Что же мы молчим, словно Рокфеллер, переваривающий свой обед? Мы ведь не поставили рекорда дожить до ста лет, – сказал в полутьме баритон.

– А Рокфеллер молчит?

– Молчит полчаса после завтрака и полчаса после обеда. Начал молчать в сорок лет.

Теперь ему девяносто три. И всегда приглашает гостей к обеду.

– Ну, а как же они?

– Тоже молчат.

– Эдакое дурачье!

– Почему?

– Потому что надеются. Если бы бедный человек вздумал молчать для пищеварения, все бы решили, что с таким дураком и знакомства водить нельзя. А кормит он их, наверное, какой-нибудь гигиенической морковкой?

– Ну конечно. При чем жует каждый кусок не меньше шестидесяти раз.

– Эдакий нахал!

– Поговорим лучше о чем-нибудь аппетитном. Петроний, расскажите нам какое-нибудь ваше приключение.

Сигара вспыхнула, и тот, кого здесь прозвали Петронием за гетры и галстуки в тон костюма, процедил ленивым голосом:

– Ну что ж, извольте. О чем?

– Что-нибудь о вечной любви, – звонко сказал женский голос. – Вы когда-нибудь встречали вечную любовь?

– Ну конечно. Только такую и встречал. Попадались все исключительно вечные.

– Да что вы! Неужели? Расскажите хоть один случай.

– Один случай? Их такое множество, что прямо выбрать трудно.

– И все вечные?

– Все вечные. Ну вот, например, могу вам рассказать одно маленькое вагонное приключение. Дело было, конечно, давно. О тех, которые были недавно, рассказывать не принято. Так вот, было это во времена доисторические, то есть до войны. Ехал я из Харькова в Москву. Ехать долго, скучно, но человек я добрый, пожалела меня судьба и послала на маленькой станции прехорошенькую спутницу. Смотрю – строгая, на меня не глядит, читает книжку, конфетки грызет. Ну, в конце концов все-таки разговорились. Очень, действительно, строгая оказалась дама. Чуть не с первой фразы объявила мне, что любит своего мужа вечной любовью, до гроба, аминь.

Ну что же, думаю, это знак хороший. Представьте себе, что вы в джунглях встречаете тигра. Вы дрогнули и усомнились в своем охотничьем искусстве и в своих силах. И вдруг тигр поджал хвост, залез за куст и глаза зажмурил. Значит, струсил. Ясно. Так вот, эта любовь до гроба и была тем кустом, за который моя дама сразу же спряталась.

Ну, раз боится, нужно действовать осторожно.

– Да, говорю, сударыня, верю и преклоняюсь. И для чего, скажите, нам жить, если не верить в вечную любовь? И какой ужас непостоянство в любви! Сегодня романчик с одной, завтра – с другой, уж не говоря о том, что это безнравственно, но прямо даже неприятно. Столько хлопот, передраг. То имя перепутаешь – а ведь они обидчивые все, эти «предметы любви». Назови нечаянно Манечку Сонечкой, так ведь такая начнется история, что жизни не рад будешь. Точно имя Софья хуже, чем Марья. А то адреса перепутаешь и благодаришь за восторги любви какую-нибудь дуру, которую два месяца не видел, а «новенькая» получает письмо, в котором говорится в сдержанных тонах о том, что, к сожалению, прошлого не вернуть. И вообще, все это ужасно, хотя я, мол, знаю, конечно, обо всем этом только понаслышке, так как сам способен только на вечную любовь, а вечная пока что еще не подвернулась.

Дама моя слушает, даже рот открыла. Прямо прелесть что за дама. Совсем приручилась, даже стала говорить «мы с вами»:

– Мы с вами понимаем, мы с вами верим...

Ну и я, конечно, «мы с вами», но все в самых почтительных тонах, глаза опущены, в голосе тихая нежность – словом, «работаю шестым номером».

К двенадцати часам перешел уже на номер восьмой, предложил вместе позавтракать.

За завтраком совсем уже подружились. Хотя одна беда – очень уж она много про мужа говорила, все «мой Коля, мой Коля», и никак ее с этой темы не свернешь. Я, конечно, всячески намекал, что он ее недостоин, но очень напирать не смел, потому что это всегда вызывает протесты, а протесты мне были не на руку.

Кстати, о руке – руку я у нее уже целовал вполне беспрепятственно, и сколько угодно, и как угодно.

И вот подъезжаем мы к Туле, и вдруг меня осенило:

– Слушайте, дорогая! Вылезем скорее, останемся до следующего поезда! Умоляю! Скорее!

Она растерялась.

– А что же мы тут будем делать?

– Как – что делать? – кричу я, весь в порыве вдохновения. – Поедем на могилу Толстого. Да, да! Священная обязанность каждого культурного человека.

– Эй, носильщик!

Она еще больше растерялась.

– Так, вы говорите... культурная обязанность... священного человека...

А сама тащит с полки картонку.

Только успели выскочить, поезд тронулся.

– Как же Коля? Ведь он же встречать выедет.

– А Коле, – говорю, – мы пошлем телеграмму, что вы приедете с ночным поездом.

– А вдруг он...

– Ну, есть о чем толковать! Он еще вас благодарить должен за такой красивый жест. Посетить могилу великого старца в дни общего безверия и ниспровержения столпов.

Посадил свою даму в буфете, пошел нанимать извозчика. Попросил носильщика договорить какого-нибудь получше лихача, что ли, чтоб приятно было прокатиться.

Носильщик ухмыльнулся.

– Понимаем, – говорит. – Потрафить можно.

И так, бестия, потрафил, что я даже ахнул: тройку с бубенцами, точно на Масленицу. Ну что ж, тем лучше. Поехали. Проехали Козлову Засеку, я ямщику говорю:

– Может, лучше бубенчики-то ваши подвязать? Неловко как-то с таким трезвоном. Все-таки ведь на могилу едем.

А он и ухом не ведет.

– Это, – говорит, – у нас без внимания. Запрету нет и наказу нет, кто как может, так и ездит.

Посмотрели на могилу, почитали на ограде надписи поклонников:

«Были Толя и Мура», «Были Сашка-Канашка и Абраша из Ростова», «Люблю Марью Сергеевну Абиносову. Евгений Лукин», «М. Д. и К. В. разбили харю Кузьме Вострухину».

Ну и разные рисунки – сердце, пронзенное стрелой, рожа с рогами, вензеля. Словом, почтили могилу великого писателя.

Мы посмотрели, обошли кругом и помчались назад.

До поезда было еще долго, не сидеть же на вокзале. Поехали в ресторан, я спросил отдельный кабинет: «Ну, к чему, говорю, нам показываться? Еще встретим знакомых, каких-нибудь недоразвившихся пошляков, не понимающих культурных запросов духа».

Провели время чудесно. А когда настала пора ехать на вокзал, дамочка моя говорит:

– На меня это паломничество произвело такое неизгладимое впечатление, что я непременно повторю его, и чем скорее, тем лучше.

– Дорогая! – закричал я. – Именно – чем скорее, тем лучше. Останемся до завтра, утром съездим в Ясную Поляну, а там и на поезд.

– А муж?

– А муж останется как таковой. Раз вы его любите вечной любовью, так не все ли равно? Ведь это же чувство непоколебимое.

– И, по-вашему, не надо Коле ничего говорить?

– Коле-то? Разумеется, Коле мы ничего не скажем. Зачем его беспокоить?

Рассказчик замолчал.

– Ну, и что же дальше? – спросил женский голос.

Рассказчик вздохнул.

– Ездили на могилу Толстого три дня подряд. Потом я пошел на почту и сам себе послал срочную телеграмму: «Владимир, возвращайся немедленно». Подпись: «Жена».

– Поверила?

– Поверила. Очень сердилась. Но я сказал: «Дорогая, кто лучше нас с тобой может оценить вечную любовь? Вот жена моя как раз любит меня вечной любовью. Будем уважать ее чувство». Вот и все.

– Пора спать, господа, – сказал кто-то.

– Нет, пусть еще кто-нибудь расскажет. Мадам Г-ч, может быть, вы что-нибудь знаете?

– Я? О вечной любви? Знаю маленькую историю. Совсем коротенькую. Был у меня на ферме голубь, и попросила я слугу моего, поляка, привезти для голубя голубку из Польши. Он привез. Вывела голубка птенчиков и улетела. Ее поймали. Она снова улетела – видно, тосковала по родине. Бросила своего голубя.

– Tout comme cher vous<sup>2</sup>, – вставил кто-то из слушателей.

– Бросила голубя и двух птенцов. Голубь стал сам греть их. Но было холодно, зима, а крылья у голубя короче, чем у голубки. Птенцы замерзли. Мы их выкинули. А голубь десять дней корму не ел, ослабел, упал с шеста. Утром нашли его на полу мертвым. Вот и все.

– Вот и все? Ну, пойдемте спать.

– Н-да, – сказал кто-то, зевая. – Эта птица – насекомое, то есть я хотел сказать – низшее животное. Она же не может рассуждать и живет низшими инстинктами. Какими-то там рефлексами. Их теперь ученые изучают, эти рефлексы, и будут всех лечить, и никакой любовной тоски, умирающих лебедей и безумных голубей не будет. Будут все, как Рокфеллеры, жевать шестьдесят раз, молчать и жить до ста лет. Правда – чудесно?

---

<sup>2</sup> Все как у нас (фр.). – Ред.

## Любовь и весна (Рассказ Гули Бучинской)

Она показывала мне свои альбомы и целые пачки любительских снимков.

Считается почему-то, что гостям очень весело рассматривать группу незнакомых теток на дачном балконе.

– А кто этот мальчик?

– Это не мальчик. Это я.

– А эта старуха кто?

– Это тоже я.

– А это что за собачка?

– Где? Это? Гм... Да ведь это тоже я.

– А почему же хвост?

– Подожди... Это не мой хвост. Хвост это вот от этой дамы. Это одна известная певица.

– Так почему же, если певица, так ей полагается быть с хвостом?

– Гм... Не совсем удачная фотография. Такое освещение. А вот старые снимки. Довоенные. Эту особу знаешь?

Особа была лет десяти, с веселыми ямочками, с белокурыми косичками, в форменном платье с широким белым воротником.

– Да это как будто ты?

– Ну, конечно, я.

Она долго смотрела на свой портретик, потом засмеялась и сказала:

– Этот портрет относится к периоду моего самого интересного романа. Моей первой любви.

– Да ведь тебе тут лет десять-одиннадцать.

– Ну да.

– Как же это я не знала. Расскажи, пожалуйста. Ведь ты тогда была в лице.

– Вот, вот. Ужасный роман. У нас, видишь ли, образовался особый клуб. Не в нашем классе, а у больших, там, где были девочки уже лет четырнадцати-пятнадцати. Не помню сейчас, в чем там было дело, но главное, что все члены клуба должны были быть непременно влюблены. Невлюбленных не принимали. А у меня, в этом классе у старших, была приятельница, Зося Яницкая. Она меня очень уважала, несмотря на то, что я была маленькая. А уважала она меня за то, что я очень много читала, и, главное, за то, что писала стихи. У них в классе никто не умел сочинять стихи.

Вот она переговорила со своими подругами и рекомендовала меня. Те, узнав про стихи, сразу согласились, но, конечно, спросили – влюблена ли эта Зу и в кого?

Тут мне пришлось признаться, что я не влюблена. Как быть?

Я бы, конечно, могла наскоро в кого-нибудь влюбиться, но я была в лицее живущей и ни одного мальчика не знала.

Зося очень огорчилась. Это было серьезное препятствие. А она меня любила и гордилась мной.

И вот придумала она прямо гениальную штуку. Она предложила мне влюбиться в ее брата. Брат ее, гимназист, молодчина, совсем взрослый – ему скоро будет тринадцать.

– Да ведь я же его никогда не видала!

– Ничего. Я его тебе покажу в окно.

Пансион у нас был очень строгий, вроде монастыря. В окошко смотреть было запрещено и считалось даже грехом. Но старшие девочки ухитрились в четыре часа, когда из соседней гимназии мальчики шли домой, подбегать к окошку, конечно, поставив у дверей сигнальщика.



Сигнальщик, одна из девочек по очереди, в случае опасности должна была петь «Аве Марию» Гуно.

И вот на следующий же день прибежала за мной Зося и потащила к окну.

– Смотри скорей! Вот они идут. Вот и он, Юрек. – У меня сердце колотилось так, что даже в ушах звенело.

– Который? Который?

– Да вон этот, круглый!

Смотрю – действительно один из мальчиков ужасно какой круглый – ну совсем яблоко.

Мне как-то в первую минуту больно стало, что нужно любить такого круглого. А Зося говорит:

– Ты согласна?

Ну что делать? Я говорю:

– Да.

А Зося обрадовалась.

– Я, – говорит, – сегодня же вечером спрошу, согласен ли он в тебя влюбиться, потому что в нашем клубе требуется, чтобы любовь была взаимна.

На другой день отзывает меня Зося в угол и рассказывает, как она предложила Юреку в меня влюбиться. Он сначала спросил Зося: «А что я от тебя за это получу?» Но Зося ему объяснила, что это надо сделать совершенно даром, и рассказала ему про клуб. Тогда он спросил: «Это какая же Зу? Это та, что с абажуром на шее?»

Поломался немножко, но, впрочем, в конце концов согласился влюбиться.

Мне было очень неприятно, что мой чудесный воротник, которому многие девочки завидовали, он назвал абажуром, но из-за такого пустяка разбивать и свое, и его сердце было бы глупо.

Итак – начался роман.

Каждый день в четыре часа я вместе с другими героинями бежала к окну и махала платком. На мое приветствие оборачивалось круглое лицо, и видно было, как оно вздыхает.

Потом Зося принесла мне открытку, которую Юрек сам для меня нарисовал и раскрасил. Открытка очень взволновала меня, хотя на ней и были изображены просто-напросто гуси. Я даже спросила Зося – почему именно гуси? Зося ответила, что это оттого, что они ему очень хорошо удаются.

В ответ на гусей я послала ему стихи. Не совсем свежие – я их уже несколько месяцев писала в альбом подругам. Но они ведь от этого хуже не стали.

Когда весною ландыши цветут,  
Мне мысли грустные идут,  
И вспоминаю я всегда  
О днях, когда была я молода.

И вот дня через два передала мне Зося стихи от Юрека. Стихи были длинные. Тогда была мода на декадентов, и он, конечно, просто перекатал их из какого-нибудь журнала. Стихи были непонятные, и слова в них были совсем ужасные. Читала я, спрятавшись в умывалку, Зося стояла на часах. Я как только прочла, так сейчас же разорвала бумагу на мелкие кусочки, кусочки закрутила катышем и выбросила в форточку.

От стихов в голове стало совсем худо и даже страшно. Ухватила я только одну фразу, но и того было довольно, чтобы прийти в ужас. Фраза была:

Я как больной сатана  
Влекусь к тебе!

Больной сатана! Такой круглый – и вдруг оказывается больной сатана! Это сочетание было такое страшное, что я схватила Зою за шею и заревела.

В четыре часа не пошла к окошку. Боялась взглянуть на больного сатану.

Был у меня маленький медальончик, золотой с голубыми камешками. Вот я пробралась потихоньку в нашу часовенку и повесила этот медальончик Мадонне на руку. За больного сатану. Так и помолилась: «Спаси и помилуй больного сатану».

Настроение у меня было ужасное. Чувствовала и понимала, что погрязла в грехе. Во-первых, смотрела в окно, что само по себе уже грех, во-вторых, влюбилась, что грех уже серьезный и необычайный, и, наконец, этот ужас с больным сатаной. Такой страшный объект для любви!

А тут как раз наступил пост и моя первая исповедь.

У нас девочки всегда записывали на бумажке свои грехи, чтоб чего-нибудь не забыть. Грехи записывались свои, чужие – то есть те, которые знала, да не донесла, а покрыла и, так сказать, сделалась как бы соучастницей. Затем грехи обычные и, наконец, тяжкие.

Я все записала, как другие, а в последний момент записочку-то и потеряла.

Можете себе представить мое состояние? И без того-то в душе ужас, хаос, отчаяние, а тут еще грехи потеряла.

А храм у нас был старый, черный, с колоннами. Черные огромные ангелы нагнулись и трубят в трубы. А в узкое узорное окно стучат дождевые капли и текут по стеклу слезами.

И надо будет сказать старому строгому кюре о моем страшном грехе. И он не простит меня, ни за что не простит, и закачаются колонны, и затрубят черные ангелы, и рухнут своды.

– Будь проклята, черная грешница!

И вот я у окошечка. Рассказываю дрожащим голосом о том, как лгала, как украла у Галюси чудную новую резинку, маленькую, круглую. Потом вернула. Как люблю сладкое, как ленюсь. Ах, все это пустяки. Я не ребенок, я отлично понимаю, что сам кюре позавидовал бы такой резинке. Все это вздор и мелочи. Главное впереди.

– У меня есть страшный грех.

– Какой, деточка?

Лечу в пропасть. Закрываю глаза.

– Я влюблена.

Он ничего, спокоен.

– В кого же?

Шепчу:

– В Юрека.

– Что же это за Юрек?

– Он Зосин брат. Он очень взрослый. Ему скоро тринадцать.

– Вот как! А где же ты с ним видишься?

– А я совсем не вижу. Я в окно.

Он ничего, только брови поднял.

– Вот, – говорит, – деточка, как нехорошо. Вам ведь запрещено в окошко смотреть. Надо слушаться.

Я все жду, когда же он рассердится. А он говорит:

– Ну вот, больше в окошко не смотри, а помолись Богу, чтобы Юрек был здоров и хорошо учился.

Только и всего!

И вдруг весь мой страшный грех показался мне таким пустяком, и вся история с Юреком такой ерундой, а сам Юрек смешным, круглым мальчиком. И вспомнились разные унижительные для героя штуки, которые рассказывала Зоя и которые я инстинктивно пропускала мимо

ушей. Как Юрек боится темной комнаты, и как ревел, когда был у дантиста, и как съедает по три тарелки макарон со сметаной.

«Ну, – думаю, – дура я, дура! И чего я так мучилась».

На другой день побежала в четыре часа к окошку. Вижу – ждет.

Я скорчила самую безобразную рожу, высунула язык, повернулась спиной и ушла.

– Зося, – говорю. – Я твоему брату дала отставку. Пусть так и знает.

На другой день приходит Зося в школу страшно расстроенная.

– Ты, – говорит, – сама не знаешь, что ты наделала! Юрек говорит, что ты его оскорбила и что он, как дворянин, не перенесет позора.

Я безумно испугалась.

– Что же он сделает?

– Не знаю. Но он в ужасном состоянии.

Как быть? Неужели застрелится?

Я надену длинное черное платье и всю жизнь буду бледна. А самое лучшее сейчас же пойти в монастырь и сделаться святой.

Напишу ему прощальное письмо. В стихах. Он тогда стреляться не будет. Со святой взятки гладки.

Стала сочинять.

Средь ангелов на небе голубом  
Я помнить буду о тебе одном.

Не успела я записать эти строки, как вдруг – цоп меня за плечо. Мадемуазель! Наша строгая классная дама.

– Что ты там пишешь, дитя мое?

Я крепко зажала бумажку в кулак.

– Я тебя спрашиваю, что ты такое пишешь? Покажи мне.

– Ни за что!

Она поджала губы, раздула ноздри.

– Почему?

– Потому что это моя личная корреспонденция. – Очевидно, я где-то слышала такое великолепное официальное выражение, оно у меня и выскочило – к моему собственному удивлению.

– Ах, вот как!

Она схватила меня за руку, я руку вырвала. Она поняла, что ей со мной не справиться.

– Петр!

Петр был сторож, звонил часы уроков, подметал классные комнаты.

– Петр! Сюда! Возьмите у барышни записку, которая у нее в кулаке.

Петр шмыгнул носом и решительно направился ко мне.

Тут я гордо вскинула голову и швырнула смятую бумажку на пол:

– С мужиком я драться не стану! – Повернулась и вышла.

Девочки разъехались. Меня на праздники непустили. Я наказана. И то еще хорошо. Собирались вообще выгнать из лицея за дерзкое поведение и безнравственное стихотворение.

Я сидела у окна и писала сочинение, которое в наказание задала мне классная дама.

Сочинение о весне.

Праздничный благовест лился в окно. Пух цветущих деревьев летел и кружился в воздухе. Щebetали веселые птицы, и пахло водой, и медом, и молодой весенней землей.

«Весна», – написала я.

И крупная слеза капнула, и расплылось чернило моей «Весны».

Я обвела кляксу кружочком и стала разрисовывать сиянием.

И, не правда ли, она, эта моя весна, заслужила сияние? Ведь она у меня так и осталась в нимбе моей памяти, как видите – на всю жизнь.

«Весна».

## Жених

По вечерам, возвратясь со службы, Бульбезов любил позаняться. Занятие у него было особое: он писал обличающие письма либо в редакцию какой-нибудь газеты, либо прямо самому автору не угодившей ему статьи. Писал грозно.

*«Милостивый государь!*

*Имел вчера неудовольствие прочесть вашу очередную брехню. В вашем «историческом» очерке вы пишете: «От слов Дантона словно электрический ток пробежал по собранию».*

*Спешу довести до вашего сведения, что во время Французской революции электричество еще не было открыто, так что электрический ток никак не мог пробежать. Это не мешало бы вам знать, раз вы имеете дерзость и самомнение братья за перо и всех поучать.*

*Илья Б —».*

Или такое:

*«Милостивый государь, господин редактор!*

*Обратите внимание на статьи вашего научного обозревателя. В номере шестьдесят втором вашей уважаемой газеты сей развязный субъект со свойственной ему беззастенчивостью рассуждает о разуме муравья. Но где же в таком случае у муравья череп? Я лично такого не видал, хотя и приходилось жить в деревне. Все это противоречит здравому смыслу.*

*Читатель, но не почитатель.*

*Илья Б —».*

Доставалось от него не только современным писателям, но и классикам.

*«Милостивый государь, господин редактор, — писал он. — Разрешите через посредство вашей уважаемой газеты обратить внимание общественного мнения на писания прославленного Льва Толстого. В своем сочинении «Война и мир», во второй части, в главе четвертой, знаменитый граф пишет:*

*«Алпатыч, приехав вечером 4-го августа в Смоленск, остановился за Днепром в Гаченском предместье на постоялом дворе, у дворника Ферапонтова, у которого он уже тридцать лет имел привычку останавливаться. Ферапонтов тридцать лет тому назад, с легкой руки Алпатыча, купив рощу у князя, начал торговать и теперь имел дом, постоялый двор и мучную лавку в губернии. Ферапонтов был толстый, черный, красный, сорокалетний мужик, с толстыми губами и т. д.».*

*Итак — заметьте: сорокалетний мужик тридцать лет тому назад купил рощу и начал торговать. Значит, мужику было тогда ровно десять лет. Считаю это клеветой на русский народ. И почему если это выдумал граф Толстой, то все должны преклоняться, а если так напишет какой-нибудь неграф и нелев, так его и печатать не станут.*

*Это недемократично.  
И. Б.».*

Письма эти тщательно переписывались, причем копию Бульбезов оставлял себе, нумеровал и прятал.

К занятиям своим относился он очень серьезно и никогда не позволял себе потратить вечер на синема или кафе, как делают это всякие лодыри.

– Пока есть силы работать – работаю.

Как это случилось – неизвестно.

Уж не весна ли навеяла эти странные мысли?

Впрочем, пожалуй, весна здесь ни при чем.

Потому что, если бы весна, то, конечно, любовался бы Бульбезов на распускающиеся деревья, на целующиеся под этими деревьями парочки, на букетики первых фиалок, предлагаемых хриплыми голосами густо налитых красным вином парижских старух. Наконец, из окна его комнаты, если открыть его и перегнуться вправо – можно было увидеть луну, что для влюбленных всегда отрадно. Но Бульбезов окна не открывал и не перегибался. Бульбезову не было до луны буквально никакого дела.

Началось дело не с луны, и не с цветов, и вообще не с пустяков. Началось дело с оборванной пуговицы на жилетке и продолжилось дело дырой на колене, то есть не на самом колене, а на платье, его обтягивающем и покрывающем. Короче говоря – на штанине.

И кончилось дело решением. Решением – вы думаете пришить да заштопать? Вот, подумаешь, было бы тогда чем расписывать.

Жениться задумал Бульбезов. Вот что.

И как только задумал, сразу же по прямой нити от пуговицы дотянулась мысль его до иголки, зацепила мысль руку, держащую эту иголку, и уперлась в шею, в Марию Сергеевну Утину.

«Жениться на Утиной».

Молода, мила, приятна, работает, шьет, все пришьет, все зашьет.

И тут Бульбезов даже удивился – как это ему раньше не пришла в голову такая мысль? Ведь если бы он раньше додумался, теперь бы пуговица сидела на месте, и сам бы он сидел на месте, и не надо было бы тащиться к этой самой Утиной, объясняться в чувствах, а сидела бы эта самая Утина тоже здесь и следила бы любящими глазами, как он работает.

Откладывать было бы глупо.

Он переменял воротничок, пригладился, долго и с большим удовольствием рассматривал в зеркало свой крупный щербатый нос, провалившиеся щеки и покрытый гусиной кожей кадык.

Впрочем, ничего не было в этом удовольствии удивительного. Большинство мужчин получает от зеркала очень приятные впечатления. Женщина, та всегда чем-то мучается, на что-то ропщет, что-то поправляет. То подавай ей длинные ресницы, то зачем у нее рот не пуговкой, то надо волосы позолотить. Все чего-то хлопочет. Мужчина взглянет, повернется чуть-чуть в профиль – и готов. Доволен. Ни о чем не мечтает, ни о чем не жалеет.

Но не будем отвлекаться.

Полюбовавшись на себя и взяв чистый платок, Бульбезов решительным шагом направился по Камбронной улице к Вожирару.

Вечерело.

По тротуару толкались прохожие, усталые и озабоченные.

Ажан гнал с улицы старую цветочницу. Острым буравчиком ввинчивался в воздух звонок кинематографа.

Бульбезов свернул за изгнанной цветочницей и купил ветку мимозы.

«С цветами легче наладить разговор».

Винтовая лестница отельчика пахла съедобными запахами, рыбьими, капустными и луковыми. За каждой дверью звякали ложки и брякали тарелки.

– Антре! – ответил на стук голос Марьи Сергеевны.

Когда он вошел, она вскочила, быстро сунула в шкаф какую-то чашку и вытерла рот.

– Да вы не стесняйтесь, пожалуйста, я, кажется, помешал, – светским тоном начал Бульбезов и протянул ей мимозу: – Вот!

Марья Сергеевна взяла цветы, покраснела и стала поправлять волосы. Она была пухленькая, с пушистыми кудерьками, курносенькая, очень приятная.

– Ну, к чему это вы! – смущенно пробормотала она и несколько раз метнула на Бульбезова удивленным лукавым глазком. – Садитесь, пожалуйста. Простите, здесь все разбросано. Масса работы. Подождите, я сейчас свет зажгу.

Бульбезов, совсем уж было наладивший комплимент («Вы, знаете ли, так прелестны, что вот не утерпел и прибежал»), вдруг насторожился.

– Как это вы изволили выразиться? Что это вы сказали?

– Я? – удивилась Марья Сергеевна. – Я сказала, что сейчас свет зажгу. А что?

И, подойдя к двери, повернула выключатель от верхней лампы. Повернула и, залитая светом, кокетливо подняла голову.

– Виноват, – сухо сказал Бульбезов. – Я думал, что ослышался, но вы снова и, по-видимому, вполне сознательно повторили ту же нелепость.

– Что? – растерялась Марья Сергеевна.

– Вы сказали: «Я зажгу свет». Как можно, хотел бы я знать, зажечь свет? Вы можете зажечь лампу, свечу, наконец, спичку. И тогда будет свет. Но как вы будете зажигать свет? Поднесете к огню зажженную спичку, что ли? Ха-ха! Нет, это мне нравится! Зажечь свет!

– Ну чего вы привязались? – обиженно надув губы, проворчала Марья Сергеевна. – Все так говорят, и никто никогда не удивлялся.

Бульбезов от негодования встал во весь рост и выпрямился. И, выпрямившись, оказался на уровне прикрепленного над умывальником зеркала, в котором и отразилось его пламенеющее негодованием лицо.

На секунду он приостановился, заинтересованный этой великолепной картиной. Посмотрел прямо, посмотрел, скосив глаза, в профиль, вдохновился и воскликнул:

– «Все говорят!»! Какой ужас слышать такую фразу! Или вы действительно считаете осмысленным все, что вы все делаете? Это поражает меня. Скажу больше – это оскорбляет меня. Вы, которую я выбрал и отметил, оказываетесь тесно спаянной со «всеми»! Спасибо. Очень умно то, что вы все делаете! Вы теперь наострили лыжи на стратосферу. Вам, изволите ли видеть, нужны какие-то собачьи измерения на высоте ста километров. А тут-то вы, на земле, на своей собственной земле, – все измерили? Что вы знаете хотя бы об электричестве? Затвердили как попугай, «анод и катод, а посередине искра». А знаете вы, что такое катод?

– Да отвяжитесь вы от меня! – визгнула Марья Сергеевна. – Когда я к вам с катодом лезла? Никаких я и не знаю, и знать не хочу.

– Вы и вам подобные, – гремел Бульбезов, – стремятся на Луну и на Марс. А изучили вы среднее течение Амазонки? Изучили вы Центральную Африку с ее непроходимыми дебрями?

– Да на что мне эти дебри? Жила без дебрей и проживу! – кричала в ответ Марья Сергеевна.

– Умеете вы вылечивать туберкулез? Нашли вы бациллу рака? – не слушая ее, неистовствовал Бульбезов. – Вам нужна стратосфера? Шиш вы получите от вашей стратосферы, свиные собачьи, неучи!

– Нахал! Скандалист! – надрывалась Марья Сергеевна. – Вон отсюда! Вон! Сейчас консержку кликну...

– И уйду. И жалею, что пришел. Тля!

Он машинально схватил ветку мимозы, которая так и оставалась на столе, и, согнув пополам, ткнул ее в карман пальто.

– Тля! – повторил он еще раз и, кинув быстрый взгляд в зеркало, пощупал, тут ли мимоза, демонстративно повернулся спиной к хозяйке и вышел.

Марья Сергеевна долго смотрела ему вслед и хлопала глазами.



## Атмосфера любви

Начало той истории, которую я хочу вам рассказать, довольно банально: дама позвала к себе в гости тех людей, которые, по ее мнению, ее любят и поэтому никаких неприятных моментов ей не доставят.

Собрать таких людей, между прочим, вовсе не так-то просто. Ну, вот вы, например, знаете, что такой-то Иван Андреевич очень многим вам обязан, но чувствует ли он к вам благодарность – это еще вопрос. Может быть, именно терпеть вас не может за то, что многим вам обязан? Разве этого не бывает?

И вот та дама, о которой идет речь, долго обдумывала и решила, что позвать можно только тех, кто отдал ей когда-то кусок души. Человек никогда не забывает того места, где зарыл когда-то кусочек души. Он часто возвращается, кружит около, пробует, как зверь лапой, поскрести немножко сверху.

Это, впрочем, касается скорее мужчин. Женщины – существа неблагодарные. Человека, который от них отошел, редко вспоминают тепло. О том, с которым прожили лет пять и прижили троих детей, могут отзываться примерно так:

– И этот болван, кажется, воображал, что я способна на близость с ним!

Мужчины относятся благодарнее к светлой памяти прошедшего романа.

Итак, дама, о которой идет речь, решила пригласить четырех кавалеров. Двое из них принадлежали ее прошлому, один настоящему и один будущему.

Первый из принадлежащих прошлому был не кто иной, как разведенный муж этой самой дамы. Когда-то он очень страдал, потом переключил страдание на безоблачную дружбу, женился и, когда новая жена надоела, опять переключился на умиленную любовь к прежней жене. Выражалось это в том, что он приходил к ней иногда завтракать и дарил ей десятую часть на Национальную лотерею. Звали его Андреем Андреичем.

Второй из прошлой жизни был тот, из-за которого пришлось развестись. Он был давно переключен на дружбу, однако полную обожания и благодарности за незабываемые страницы – конечно, с его стороны. Его приглашали в дождливую погоду для тихих разговоров и чтения вслух. Он умел красиво говорить, он играл на гитаре, вздыхал и брал займы небольшие суммы. Звали его Сергей Николаич.

Принадлежащий настоящему был Алексей Петрович. Как и полагается герою текущего романа, он был подозрителен, ревнив, всегда встревожен, всегда готов закатить скандал. Словом – в его чувстве сомнений быть не могло.

Человек будущего был дансер Вовочка. Вовочка еще был в стадии мечтаний и желаний, в эпохе комплиментов и моментов. Он был чрезвычайно мил.

Словом, вся компания, весь мажорный аккорд из четырех нот обещал быть приятным, радостным, поднимающим настроение и дающим сознание своих женственных сил. А у каждой женщины известных лет (которые вернее было бы называть «неизвестными») бывают такие настроения, когда нужно поднять бодрость духа. А ничто ж не поднимает этот упавший дух, как атмосфера любви. Чувствовать, как тобой любят, как следят за каждым твоим движением влюбленные глаза, тогда все в чуткой женской душе – прибавленные за последние дни два кило веса и замеченные морщины в углах рта – исчезают, выпрямляются плечи, загораются глаза, и женщина смело начинает смотреть в свое будущее, которое сидит тут же, подпрыгивает ногой и курит папироску.

Итак, дама, о которой идет речь, – звали даму Марья Артемьевна, – пригласила этих четырех кавалеров к обеду.

Первым пришел олицетворяющий настоящее – Алексей Петрович. Узнав, кто еще приглашен, выразил на лице своем явное неодобрение.

– Странная идея! – сказал он. – Неужели эти люди могут представить какой-нибудь интерес в обществе? Впрочем, это дело ваше.

Он стал задумчив и мрачен, и только имя Вовочки вызвало на лице его улыбку.

– Милый молодой человек. И вполне серьезный, несмотря на свою профессию.

Марья Артемьевна немножко как будто удивилась, но удивления своего не выказала.

Словом, все обещало идти как по маслу и началось действительно хорошо.

Бывший муж принес конфеты. Это было так мило, что она невольно шепнула ему:

– Мерси, котик.

Второй представитель прошлого, Сергей Николаич, принес фиалки, и это было так нежно, что она и ему невольно шепнула:

– Мерси, котик.

Вовочка ничего не принес и так мило сконфузился, видя эти подарки, что она от разнеженности чувств шепнула и ему тоже:

– Мерси, котик.

Ну, словом, все было прелестно.

Конечно, Андрей Андреич покосился на фиалки Сергея Николаича, но это было вполне естественно. А Сергея Николаича покорило от конфет Андрея Андреича – и это было вполне понятно. Разумеется, Алексею Петровичу были неприятны и цветы и конфеты – но это вполне законно. Вовочка надулся – но это так забавно!

Пустяки – пусть поревнут. Тем веселее, тем ярче.

Она чувствовала себя веселой пчелкой, королевой улья среди гудящих любовью трутней.

Сели за стол.

Зеленые щи с ватрушками. Коньяк, водка. Все разогрелись, разговорились.

Марья Артемьевна, розовая, оживленная, думала:

«Какая чудесная была у меня мысль позвать именно этих испытанных друзей. Все они любят меня и ревнуют, и это общее их чувство ко мне соединяет их между собой».

– А ватрушки сыроваты, – вдруг заметил Алексей Петрович, представитель настоящего, и даже многозначительно поднял брови.

– Н-да! – добродушно подхватил бывший муж. – Ты, Манюточка, уж не обижайся, а хозяйка ты никакая.

– Ну-ну, нечего, – весело остановила их Марья Артемьевна. – Все они не так плохи. Я ем с большим удовольствием.

– Ну, это еще ничего не значит, что вы едите с удовольствием, – довольно раздраженно вступил в разговор Сергей Николаич, тот самый, из-за которого произошел развод. – Вы никогда не отличались ни вкусом, ни разборчивостью.

– Женщины вообще, – вдруг вступил в разговор Вовочка, запнулся, покраснел и смолк.

– Ну, господа, какие вы, право, все сердитые! – рассмеялась Марья Артемьевна.

Ей хотелось поскорее оборвать этот нудный разговор, наладить снова нежно-уютную атмосферу. Но не тут-то было.

– Мы сердитые? – спросил бывший муж. – Обычная женская манера сваливать свою вину на других. Подала сырое тесто она, а виноваты мы. Мы, оказывается, сердитые.

Но Марья Артемьевна все еще не хотела сдаваться.

– Вовочка, – сказала она, кокетливо улыбаясь представителю будущего. – Вовочка, неужели и вы скажете, что мои ватрушки нельзя есть?

Вовочка под влиянием этой нежной улыбки уже начал было и сам улыбаться, как вдруг раздался голос Алексея Петровича:

– Мосье Вовочка слишком хорошо воспитан, чтобы ответить вам правду. С другой стороны, он слишком культурен, чтобы есть эту ужасную стряпню. Надеюсь, дорогая моя, вы не обижаетесь?

Вовочка нахмурился, чтобы показать сложность своего положения. Марья Артемьевна заискивающе улыбнулась всем по очереди, и обед продолжался.

– Ну вот, – бодро и весело говорила она. – Надеюсь, что этот матлот из угрей заставит вас забыть о ватрушках.

Она снова кокетливо улыбалась, но на нее уже никто не обращал внимания. Бывший муж заговорил с Алексеем Петровичем о банковских делах. Разговор их заинтересовал Сергея Николаича так сильно, что хозяйке пришлось два раза спросить у него, не хочет ли он салата. В первый раз он ничего не ответил, а на второй вопрос буркнул:

– Да ладно, отстань!

Эту неожиданную реплику услышал Вовочка, покраснел и надулся.

Марья Артемьевна почувствовала, что ее будущее в опасности.

– Вовочка, – тихонько сказала она, – вам нравится мое жабо? Я его надела для вас.

Вовочка чуть-чуть покосился на жабо, буркнул:

– Толстит шею.

И отвернулся.

Ничего нельзя было с ним поделать.

А те трое окончательно сдружились. Хозяйка совершенно перестала для них существовать. На ее вопросы и потчеванье они не обращали никакого внимания, и раз только бывший муж спросил, нет ли у нее минеральной воды, причем назвал ее почему-то Сонечкой и даже сам этого не заметил.

Они, эти трое, давно уже съехали с разговора о банковских делах на политику и очень сошлись во взглядах. Только раз скользнуло маленькое разногласие – Андрей Андреич слышал от одного француза, что большевики падут в сентябре, а Сергей Николаич знал сам от себя, что они должны были пасть еще в прошлом марте, но по небрежности и безалаберности, конечно, запоздали.

С политики переехали на анекдоты, которые рассказывали друг другу на ухо и долго громко хохотали.

Потом им надоело шептаться, и Андрей Андреич сказал Марье Артемьевне:

– А вы, душечка, пошли бы на кухню и присмотрели бы за кофе, а то выйдет, как с ватрушками. А мы бы здесь пока поговорили. Удивляюсь, как вы сами никогда ни о чем не догадываетесь.

И все на эти слова одобрительно загоготали.

Марья Артемьевна, очень обиженная, ушла в спальню и чуть-чуть всплакнула.

Когда она вернулась в столовую, оказалось, что гости уже встали и, отказавшись от кофе, куда-то очень заторопились.

– Мы хотим еще пройти на Монпарнас, куда-нибудь в кафе, подышать воздухом, – холодно объяснил хозяйке Алексей Петрович и глядел куда-то мимо нее.

Весело и громко разговаривая, стали они спускаться с лестницы.

– Вовочка! – почти с отчаянием остановила Марья Артемьевна своего дансера. – Вовочка, еще рано! Оставайтесь!

Но Вовочка криво усмехнулся и пробормотал:

– Простите, Марья Артемьевна, было бы неловко перед вашими мужьями.

И бросился вприскок вниз по лестнице.

## Виртуоз чувства

Всего интереснее в этом человеке – его осанка.

Он высок, худ, на вытянутой шее голая орлиная голова. Он ходит в толпе, раздвинув локти, чуть покачиваясь в талии и гордо озираясь. А так как при этом он бывает обыкновенно выше всех, то и кажется, будто он сидит верхом на лошади.

Живет он в эмиграции на какие-то «крохи», но, в общем, недурно и аккуратно. Нанимает комнату с правом пользования салончиком и кухней и любит сам готовить особые тушеные макароны, сильно поражающие воображение любимых им женщин.

Фамилия его Гутбрехт.

Лизочка познакомилась с ним на банкете в пользу «культурных начинаний и продолжений».

Он ее, видимо, наметил еще до рассаживания по местам. Она ясно видела, как он, прогарцевав мимо нее раза три на невидимой лошади, дал шпоры и поскакал к распорядителю и что-то толковал ему, указывая на нее, Лизочку. Потом оба они, и всадник и распорядитель, долго рассматривали разложенные по тарелкам билетки с фамилиями, что-то там помудрили, и в конце концов Лизочка оказалась соседкой Гутбрехта.

Гутбрехт сразу, что называется, взял быка за рога, то есть сжал Лизочкину руку около локтя и сказал ей с тихим упреком:

– Дорогая! Ну, почему же? Ну, почему же нет?

При этом глаза у него заволоклись снизу петушиной пленкой, так что Лизочка даже испугалась. Но пугаться было нечего. Это прием, известный у Гутбрехта под названием «номер пятый» («работаю номером пятым»), назывался среди его друзей просто «тухлые глаза».

– Смотрите! Гут уже пустил в ход тухлые глаза!

Он, впрочем, мгновенно выпустил Лизочкину руку и сказал уже спокойным тоном светского человека:

– Начнем мы, конечно, с селедочки.

И вдруг снова сделал тухлые глаза и прошептал сладострастным шепотом:

– Боже, как она хороша!

И Лизочка не поняла, к кому это относится – к ней или к селедке, и от смущения не могла есть. Потом начался разговор.

– Когда мы с вами поедем на Капри, я покажу вам поразительную собачью пещеру.

Лизочка трепетала. Почему она должна с ним ехать на Капри? Какой удивительный этот господин!

Наискосок от нее сидела высокая полная дама, кариатидного типа. Красивая, величественная.

Чтобы отвести разговор от собачьей пещеры, Лизочка похвалила даму:

– Правда, какая интересная?

Гутбрехт презрительно повернул свою голую голову, так же презрительно отвернул и сказал:

– Ничего себе мордашка.

Это «мордашка» так удивительно не подходило к величественному профилю дамы, что Лизочка даже засмеялась.

Он поджал губы бантиком и вдруг заморгал, как обиженный ребенок. Это называлось у него «сделать мусеньку».

– Детка! Вы смеетесь над Вовочкой!

– Какой Вовочкой? – удивилась Лизочка.

– Надо мной! Я Вовочка! – надув губки, капризничала орлиная голова.

– Какой вы странный! – удивлялась Лизочка. – Вы же старый, а жантильничаете, как маленький.

– Мне пятьдесят лет! – строго сказал Гутбрехт и покраснел. Он обиделся.

– Ну да, я же и говорю, что вы старый! – искренне недоумевала Лизочка.

Недоумевал и Гутбрехт. Он сбавил себе шесть лет и думал, что «пятьдесят» звучит очень молодо.

– Голубчик, – сказал он и вдруг перешел на «ты». – Голубчик, ты глубоко проницательна. Если бы у меня было больше времени, я бы занялся твоим развитием.

– Почему вы вдруг говор... – попробовала возмутиться Лизочка. Но он ее прервал:

– Молчи. Нас никто не слышит. – И прибавил шепотом:

– Я сам защищу тебя от злословия.

«Уж скорее бы кончился этот обед!» – думала Лизочка. Но тут заговорил какой-то оратор, и Гутбрехт притих.

– Я живу странной, но глубокой жизнью! – сказал он, когда оратор смолк. – Я посвятил себя психоанализу женской любви. Это сложно и кропотливо. Я произвожу эксперименты, классифицирую, делаю выводы. Много неожиданного и интересного. Вы, конечно, знаете Анну Петровну? Жену нашего известного деятеля?

– Конечно, знаю, – отвечала Лизочка. – Очень почтенная дама.

Гутбрехт усмехнулся и, раздвинув локти, погарцевал на месте.

– Так вот эта самая почтенная дама – это такой бесенок! Дьявольский темперамент. На днях пришла она ко мне по делу. Я передал ей деловые бумаги и вдруг, не давая ей опомниться, схватил ее за плечи и впился губами в ее губы. И если бы вы только знали, что с ней случилось! Она почти потеряла сознание! Совершенно не помня себя, она закатила мне плюху и выскочила из комнаты. На другой день я должен был зайти к ней по делу. Она меня не приняла. Вы понимаете? Она не ручается за себя. Вы не можете себе представить, как интересны такие психологические эксперименты. Я не Дон-Жуан. Нет. Я тоньше! Одухотвореннее. Я виртуоз чувства! Вы знаете Веру Экс? Эту гордую, холодную красавицу?

– Конечно, знаю. Видала.

– Ну, так вот. Недавно я решил разбудить эту мраморную Галатею! Случай скоро представился, и я добился своего.

– Да что вы! – удивилась Лизочка. – Неужели? Так зачем же вы об этом рассказываете? Разве можно рассказывать!

– От вас у меня нет тайн. Я ведь и не увлекался ею ни одной минуты. Это был холодный и жестокий эксперимент. Но это настолько любопытно, что я хочу рассказать вам все. Между нами не должно быть тайн. Так вот. Это было вечером, у нее в доме. Я был приглашен обедать в первый раз. Там был, в числе прочих, этот верзила Сток или Строк, что-то в этом роде. О нем еще говорили, будто у него роман с Верой Экс. Ну, да это ни на чем не основанные сплетни. Она холодна как лед и пробудилась для жизни только на один момент. Об этом моменте я и хочу вам рассказать. Итак, после обеда (нас было человек шесть, все, по-видимому, ее близкие друзья) перешли мы в полутемную гостиную. Я, конечно, около Веры на диване. Разговор общий, малоинтересный. Вера холодна и недоступна. На ней вечернее платье с огромным вырезом на спине. И вот я, не прекращая светского разговора, тихо, но властно протягиваю руку и быстро хлопаю ее несколько раз по голой спине. Если бы вы знали, что тут случилось с моей Галатеей! Как вдруг оживился этот холодный мрамор! Действительно, вы только подумайте: человек в первый раз в доме, в салоне приличной и холодной дамы, в обществе ее друзей, и вдруг, не говоря худого слова, то есть я хочу сказать, совершенно неожиданно, такой интимнейший жест. Она вскочила, как тигрица. Она не помнила себя. В ней, вероятно, в первый раз в жизни проснулась женщина. Она взвизгнула и быстрым движением закатила мне

плюху. Не знаю, что было бы, если бы мы были одни! На что был бы способен оживший мрамор ее тела. Ее выручил этот гнусный тип Сток, Строк. Он заорал:

«Молодой человек, вы старик, а ведете себя, как мальчишка», – и вытурил меня из дому.

С тех пор мы не встречались. Но я знаю, что этого момента она никогда не забудет. И знаю, что она будет избегать встречи со мной. Бедняжка! Но ты притихла, моя дорогая девочка? Ты боишься меня. Не надо бояться Вовочку!

Он сделал «мусеньку», поджав губы бантиком и поморгав глазами.

– Вовочка добленький.

– Перестаньте, – раздраженно сказала Лизочка. – На нас смотрят.

– Не все ли равно, раз мы любим друг друга. Ах, женщины, женщины. Все вы на один лад. Знаете, что Тургенев сказал, то есть Достоевский – знаменитый писатель-драматург и знаток. «Женщину надо удивить». О, как это верно. Мой последний роман... Я ее удивил. Я швырял деньгами, как Крез, и был кроток, как Мадонна. Я послал ей приличный букет гвоздики. Потом огромную коробку конфет. Полтора фунта, с бантом. И вот, когда она, упоенная своей властью, уже приготовилась смотреть на меня как на раба, я вдруг перестал ее преследовать. Понимаете? Как это сразу ударило ее по нервам. Все эти безумства, цветы, конфеты, в проекте вечер в кинематографе Парамоунт и вдруг – стоп. Жду день, два. И вдруг звонок. Я так и знал. Она. Входит, бледная, трепетная... «Я на одну минутку». Я беру ее обеими ладонями за лицо и говорю властно, но все же – из деликатности – вопросительно:

«Моя?»

Она отстранила меня...

– И закатила плюху? – деловито спросила Лизочка.

– Н-не совсем. Она быстро овладела собой. Как женщина опытная, она поняла, что ее ждут страдания. Она отпрянула и побледневшими губами пролепетала:

«Дайте мне, пожалуйста, двести сорок восемь франков до вторника».

– Ну и что же? – спросила Лизочка.

– Ну и ничего.

– Дали?

– Дал.

– А потом?

– Она взяла деньги и ушла. Я ее больше и не видел.

– И не отдала?

– Какой вы еще ребенок! Ведь она взяла деньги, чтобы как-нибудь оправдать свой визит ко мне. Но она справилась с собой, порвала сразу эту огненную нить, которая протянулась между нами. И я вполне понимаю, почему она избегает встречи. Ведь и ее силам есть предел. Вот, дорогое дитя мое, какие темные бездны сладострастия открыл я перед твоими испуганными глазками. Какая удивительная женщина! Какой исключительный порыв!

Лизочка задумалась.

– Да, конечно, – сказала она. – А по-моему, вам бы уж лучше плюху. Практичнее. А?

## Самоотверженная любовь

*Посвящ. Lolo*

Лиля Люлина была босоножка.

Танцевала она, положим, редко, да и то в башмаках, потому что муж Люлиной, трагик Кинжалов, был ревнив и ставил вопрос ребром:

– Сегодня откроешь руки, завтра ноги, а послезавтра что?

И вот из страха перед этим трагическим «послезавтра» Люлина и отплясывала свои босоножные танцы в чулках и туфлях.

Да это и не огорчало ее.

Ее огорчало совсем другое: она любила карты, а трагик не любил ее любовь к картам.

Она дулась в карты по целым ночам, а трагик дулся на нее по целым дням.

Возвращаясь под утро домой, она часто заставляла его еще одетым, бледного, нервного – он не спал всю ночь. Его раздражает ее позорная страсть.

Пусть она знает раз навсегда, что, пока она резвится за ломберным столом, он, бледный, тоскующий, с горькой улыбкой отчаяния, бродит один по темным комнатам и спрашивает у белеющего за окном рассвета: «Быть или не быть?»

Лиля Люлина мучилась за него, мучилась целый день до вечера. А вечером, вздохнув, уходила играть в карты.

Но все на свете кончается.

Однажды часов в шесть утра проигравшаяся в пух и прах Люлина возвращалась домой. Провожал ее комик Стрункин. Шли пешком. Комик подшучивал:

– Вы оттого и проигрываете, Лиличка, что муж в вас влюблен, как лошадь. Кто счастлив в любви, тому не может везти в карты.

Недалеко от своего подъезда Лиля остановилась как вкопанная.

– Смотрите. Ведь это он. Ведь это он! – Действительно, это был он – трагик Кинжалов. Выскочил он откуда-то из-за угла, бледный, с выпученными глазами, и быстро юркнул в подъезд.

– Как странно, он не видал нас, – удивился Стрункин.

– Господи, господа, – ахала Лиля. – По-моему, это он от бешенства ослеп. Он, верно, подстерегал меня, чтобы убить. Друг мой Стрункин, знаете – я не буду больше играть в карты. Бедный Боречка! Ведь он сошел с ума. Как вы думаете – он еще сможет оправиться?

Полная нежности и раскаяния, вошла она в спальню.

Кинжалов уже успел раздеться и даже заснуть. Но спал как-то вполглаза.

«Притворяется, – похолодела Лиля, – выждет, чтобы я уснула, и зарежет, как курицу».

Она легла, притихла и насторожилась.

Кинжалов сел, прислушался, потом встал и тихо, на цыпочках, вышел из комнаты.

Лиля, вся дрожа, поднялась тоже.

«Пошел за ножом. Господи, господа!.. Доигралась...»

Она тихо прокралась за ним.

У дверей кабинета остановилась... Что это? Он говорит? Он с ума сошел, он один разговаривает. Она приоткрыла дверь.

– Барышня. Сто пять тринадцать. Мерси. Это телефон.

Лиля приободрилась и подошла ближе.

– Тамарочка? Ты? – нежно нашептывал Кинжалов. – Не спишь, детка? Ах, я тоже весь горю. Не оторваться от твоих змеиных ласк. Ах... ах... Я тоже... Представь себе, возвращаясь

домой, столкнулся нос к носу с Лилей. Ничего... ничего. Она была так погружена в свои картежные воспоминания, что даже не заметила меня. Ай! Кто меня трога...

За его спиной, грозно сверкая глазами, стояла Лиля.

– Так вот оно что! Так вот как ты проводишь время в мое отсутствие?! Ты изменяешь мне! Подлый!

Лиля всхлипнула и вдруг разревалась искренно, горько и отчаянно.

– Я думала... ты, как честный человек, просто хочешь зарезать меня... а ты... а ты...

Кинжалов погладил ее по голове и сказал кротко:

– Дорогая моя! Какая ты глупенькая! Ведь это же все из любви к тебе. Я не отрицаю. Да, я изменил тебе, но, ей-богу, единственно для того, чтобы тебе везло в карты. Ведь я так люблю тебя, что для твоей пользы готов на все.

Лиля Люлина больше не играет в карты.

Самоотверженная любовь мужа излечила ее от этой страсти.

Да, дети мои. Любовь, способная на самопожертвование, всегда получит награду свою.



## Весна

Балконную дверь только что выставили.

Клочки бурой ваты и кусочки замазки валяются на полу.

Лиза стоит на балконе, шурится на солнце и думает о Кате Потапович.

Вчера, за уроком географии, Катя рассказала ей о своем романе с кадетом Веселкиным. Катя целуется с Веселкиным, и еще у них что-то такое, о чем она в классе рассказать не может, а скажет потом, в воскресенье, после обеда, когда будет темно.

– А ты в кого влюблена? – спрашивала Катя.

– Я не могу тебе сказать этого сейчас, – ответила Лиза. – Я скажу тоже потом, в воскресенье.

Катя посмотрела на нее внимательно и крепко прижалась к ней.

Лиза схитрила. Но что же оставалось ей делать? Ведь не признаться же прямо, что у них в доме никаких мальчиков не бывает и что ей в голову не приходило влюбиться.

Это вышло бы очень неловко.

Может быть, сказать, что она тоже влюблена в кадета Веселкина? Но Катя знает, что она кадета никогда и в глаза не видала. Вот положение!

Но, с другой стороны, когда так много знаешь о человеке, как о Веселкине, то ведь имеешь право влюбиться в него и без всякого личного знакомства. Разве это не так?

Легкий ветерок вздохнул свежестью только что растаявшего снега, пощекотал Лизу по щеке прядкой выбившихся из косы волос и весело покатило по балкону клубки бурой ваты.

Лиза лениво потянулась и пошла в комнату.

После балкона комната стала темной, душной и тихой.

Лиза подошла к зеркалу, посмотрела на свой круглый веснушчатый нос, белокурую косичку – крысиный хвостик и подумала с гордой радостью:

«Какая я красавица! Боже мой, какая я красавица! И через три года мне шестнадцать лет, и я смогу выйти замуж!»

Закинула руки за голову, как красавица на картине «Одалиска», повернулась, изогнулась, посмотрела, как болтается белокурая косичка, призадумалась и деловито пошла в спальню.

Там, у изголовья узкой железной кровати, висел на голубой ленточке образок в золоченой ризке.

Лиза оглянулась, украдкой перекрестилась, отвязала ленточку, положила образок прямо на подушку и побежала снова к зеркалу.

Там, лукаво улыбаясь, перевязала ленточкой свою косичку и снова изогнулась.

Вид был тот же, что и прежде. Только теперь на конце крысиного хвостика болтался грязный, мятый голубой комочек.

– Красавица! – шептала Лиза. – Ты рада, что ты – красавица?

Сердцем красавица,  
Как ветерок полей,  
Кто ей поверит,  
Но и обман.

Какие странные слова! Но это ничего. В романах всегда так. Всегда странные слова. А может быть, не так? Может быть, надо:

Кто ей поверит,  
Тот и обман.

Ну, да! Обман – значит, обманут.

Тот и обманут.

И вдруг мелькнула мысль:

– А не обманывает ли ее Катя? Может быть, у нее никакого романа и нет. Ведь уверяла же она в прошлом году, что в нее на даче влюбился какой-то Шура Золотивцев и даже бросился в воду. А потом шли они вместе из гимназии, видят – едет на извозчике какой-то маленький мальчик с нянькой и кланяется Кате.

– Это кто?

– Шура Золотивцев.

– Как? Тот самый, который из-за тебя в воду бросился?

– Ну да. Что же тут удивительного?

– Да ведь он же совсем маленький! – А Катя рассердилась.

– И вовсе он не маленький. Это он на извозчике такой маленький кажется. Ему уже двенадцать лет, а старшему его брату – семнадцать. Вот тебе и маленький.

Лиза смутно чувствовала, что это – не аргумент, что старшему брату может быть и восемнадцать лет, а самому Шуру все-таки только двенадцать, а на вид восемь. Но высказать это она как-то не сумела, а только надулась, а на другой день, во время большой перемены, гуляла по коридору с Женей Андреевой.

Лиза снова повернулась к зеркалу, потянула косичку, заложила голубой бантик за ухо и стала приплясывать.

Послышались шаги.

Лиза остановилась и покраснела так сильно, что даже в ушах у нее зазвенело.

Вошел сутулый студент Егоров, товарищ брата.

– Здравствуйте! Что? Кокетничаете?

Он был вялый, серый, с тусклыми глазами и сальными, прядистыми волосами.

Лиза вся замерла от стыда и тихо пролепетала:

– Нет... я... завязала ленточку...

Он чуть-чуть улыбнулся.

– Что ж, это очень хорошо, это очень красиво.

Он приостановился, хотел сказать еще что-нибудь, успокоить ее, чтобы она не обижалась и не смущалась, да как-то не придумал, что, и только повторил:

– Это очень, очень красиво!

Потом повернулся и пошел в комнату брата, горбясь и кренделя длинными, развихленными ногами.

Лиза закрыла лицо руками и тихо, счастливо засмеялась.

– Красиво!.. Он сказал – красиво!.. Я красивая! Я красивая! И он это сказал! Значит, он любит меня!

Она выбежала на балкон гордая, задышающаяся от своего огромного счастья, и шептала весеннему солнцу:

– Я люблю его! Люблю студента Егорова, безумно люблю! Я завтра все расскажу Кате! Все! Все! Все!

И жалко и весело дрожал за ее плечами крысиный хвостик с голубой тряпочкой.

## Счастливая

А. А. Ц.

Да, один раз я была счастлива.

Я давно определила, что такое счастье, очень давно, – в шесть лет. А когда оно пришло ко мне, я его не сразу узнала. Но вспомнила, какое оно должно быть, и тогда поняла, что я счастлива.

\* \* \*

Я помню:

Мне шесть лет. Моей сестре – четыре.

Мы долго бегали после обеда вдоль длинного зала, догоняли друг друга, визжали и падали. Теперь мы устали и притихли.

Стоим рядом, смотрим в окно на мутно-весеннюю сумеречную улицу.

Сумерки весенние всегда тревожны и всегда печальны.

И мы молчим. Слушаем, как дрожат хрусталики канделябров от проезжающих по улице телег.

Если бы мы были большие, мы бы думали о людской злобе, об обидах, о нашей любви, которую оскорбили, и о той любви, которую мы оскорбили сами, и о счастье, которого нет.

Но мы – дети, и мы ничего не знаем. Мы только молчим. Нам жутко обернуться. Нам кажется, что зал уже совсем потемнел, и потемнел весь этот большой, гулкий дом, в котором мы живем. Отчего он такой тихий сейчас? Может быть, все ушли из него и забыли нас, маленьких девочек, прижавшихся к окну в темной огромной комнате?

Около своего плеча вижу испуганный, круглый глаз сестры. Она смотрит на меня: заплакать ей или нет?

И тут я вспоминаю мое сегодняшнее дневное впечатление, такое яркое, такое красивое, что забываю сразу и темный дом, и тускло-тоскливую улицу.

– Лена! – говорю я громко и весело. – Лена! Я сегодня видела конку!

Я не могу рассказать ей все о том безмерно радостном впечатлении, какое произвела на меня конка.

Лошади были белые и бежали скоро-скоро; сам вагон был красный или желтый, красивый, народа в нем сидело много, все чужие, так что могли друг с другом познакомиться и даже поиграть в какую-нибудь тихую игру. А сзади, на подножке стоял кондуктор, весь в золоте, – а может быть, и не весь, а только немножко, на пуговицах, – и трубил в золотую трубу:

– Ррам-рра-ра!

Само солнце звенело в этой трубе и вылетало из нее златозвонкими брызгами.

Как расскажешь это все! Можно сказать только:

– Лена! Я видела конку!

Да и не надо ничего больше. По моему голосу, по моему лицу она поняла всю беспредельную красоту этого видения.

И неужели каждый может вскочить в эту колесницу радости и понестись под звоны солнечной трубы?

– Ррам-рра-ра!

Нет, не всякий. Фрейлейн говорит, что нужно за это платить. Оттого нас там и не возят. Нас запирают в скучную, затхлую карету с дребезжающим окном, пахнущую сафьяном и пачулями, и не позволяют даже прижимать нос к стеклу.

Но когда мы будем большими и богатыми, мы будем ездить только на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!

\* \* \*

Я зашла далеко, на окраину города. И дело, по которому я пришла, не выгорело, и жара истомила меня.

Кругом глухо, ни одного извозчика.

Но вот, дребезжа всем своим существом, подкатила одноклячная конка. Лошадь, белая, тощая, гремела костями и шелкала болтающимися постромками о свою сухую кожу. Зловеще моталась длинная белая морда.

– Измывайтесь, измывайтесь, а вот сдохну на повороте, – все равно вылезете на улицу.

Безнадежно-унылый кондуктор подождал, пока я влезу, и безнадежно протрубил в медный рожок.

– Ррам-рра-ра!

И больно было в голове от этого резкого медного крика и от палящего солнца, ударявшего злым лучом по завитку трубы.

Внутри вагона было душно, пахло раскаленным утюгом.

Какая-то темная личность в фуражке с кокардой долго смотрела на меня мутными глазами и вдруг, словно поняла что-то, ослабилась, подсела и сказала, дыша мне в лицо соленым огурцом:

– Разрешите мне вам сопутствовать. – Я встала и вышла на площадку.

Конка остановилась, подождала встречного вагона и снова задрезжалась.

А на тротуаре стояла маленькая девочка и смотрела нам вслед круглыми голубыми глазами, удивленно и восторженно.

И вдруг я вспомнила.

«Мы будем ездить на конке. Мы будем, будем, будем счастливыми!»

Ведь я, значит, счастливая! Я еду на конке и могу познакомиться со всеми пассажирами, и кондуктор трубит, и горит солнце на его рожке.

Я счастлива! Я счастлива!

Но где она, та маленькая девочка в большом темном зале, придумавшая для меня это счастье? Если бы я могла найти ее и рассказать ей, – она бы обрадовалась.

Как страшно, что никогда не найду ее, что нет ее больше, и никогда не будет ее, самой мне родной и близкой, – меня самой.

А я живу...

## Ревность

С самого утра было как-то тревожно.

Началась тревога с того, что утром вместо обычных белых чулок подали какие-то мутно-голубые, и нянька ворчала, что прачка все белье пересинила.

– Статочное ли дело этакое белье подавать. А туда же, «Матрена Карповна»! Нет, коли ты себя Матреной Карповной зовешь, так должна понимать, что делаешь, а не валять зря!

Лиза сидела на кровати и разглядывала свои худые длинные ноги, которыми она вот уже семь лет шагает по божьему свету. Смотрит на голубые чулки и думает:

– Нехорошие чулки. Смертный цвет. Будет мне беда! – Потом вместо няньки стала ее причесывать горничная Корнелька с масляной головой, масляными руками и хитрыми масляными глазами.

Корнелька драла гребнем волосы больно-пребольно, но Лиза считала унижительным для себя хныкать при ней и только кряхтела.

– Отчего у вас руки масляные?

Корнелька повернула несколько раз свою красную короткую руку, словно любуясь ею.

– Это у меня ручки от работы так блестят. Я до работы прилежна, вот и ручки блестят.

\* \* \*

У террасы, под старой липой, на маленькой глиняной печурке нянька варила варенье.

Кухаркина девчонка Стешка помогала, подкладывала щепок в печурку, бегала за ложкой, за тарелкой, отгоняла веткой мух от тазика.

Нянька поощряла девчонку и подзадоривала:

– Молодец, Стеша! Ну что за умница эта Стеша. Вот она мне сейчас и холодненькой водички принесет. Пойди, Стеша, принеси водички. Этой Стеше прямо цены нет.

Лиза ходила вокруг липы, перелезала через толстые ее корни. Между корнями было много занятного. В одном уголку жил дохлый жук. Крылья у него были сухие, как шелуха, что бывает внутри кедрового орешка. Лиза перевернула его палочкой сначала на спину, потом снова на брюшко, но он не испугался и не убежал. Совсем был дохлый и жил спокойно.

В другом уголку натянута была паутинка, а в ней лежала крошечная муха. Паутинка, верно, была мушиным гамаком.

В третьем уголку сидела божья коровка и думала про свои дела.

Лиза подняла ее палочкой и понесла к мухе познакомиться, но божья коровка по дороге вдруг раскололась посредине, раздвинула крылья и улетела.

Нянька застучала ложкой по тарелке, снимая накипь с варенья.

– Нянюшка, дайте мне пеночек! – попросила Лиза.

Нянька была красная и сердитая. Сдувала муху с верхней губы, но муха точно прилипла к влажному лицу и переползала то на нос, то на щеку.

– Пойди, пойди! Нечего тут вертеться! Какие тебе пеночки, еще и не вскипело. Другая сидела бы в детской, картинки бы смотрела. Видишь, няне некогда. У, непоседа! Стеша, умница, подложи щепочек! Молодец у меня Стеша.

Лиза смотрела, как Стеша, мелко семеня босыми ногами, принесла щепок и старательно подсовывала их в печурку.

Косичка у Стешки была тоненькая, перевязанная грязной голубой тряпочкой, а шея под косичкой темная, худая, как палка.

«Это она нарочно так старается, – думала Лиза. – Нарочно. Воображает, что она и вправду умная. А няня просто так говорит».

Стешка поднялась, няня погладила ее по голове и сказала:

– Спасибо, Стешенька. Ужо дам тебе пеночек. – У Лизы вдруг громко-громко застучало в висках. Она легла животом на скамейку и, болтая ногами в «смертных» чулках, сказала, злобно улыбаясь вздрагивающими губами:

– А я не пойду отсюда! Не хочу и не пойду! – Нянька обернулась и всплеснула руками:

– Ну, что это, ей-богу, за наказание! Сегодня чистое платье надели, а она его по грязной скамейке валяет. Как есть все загваздала! Да уйдешь ты отсюда или нет?

– Не хочу и не пойду!

Нянька хотела что-то сказать, но в это время поднялась на варенье густая белая пена.

– Ах ты, господи! Варенье уйдет.

Она кинулась к тазику, а Лиза, поднявшись, демонстративно запела и заскакала прочь на одной ножке.

Она уже вышла из-под липы, когда встретила Стешку, несшую ягоды на блюде.

Стешка шагала осторожно – нарочно, чтобы показать Лизе, что она умница.

Лиза подошла к ней и, задыхаясь, сказала шепотом:

– Пошла вон! Пошла вон, дура!

Стешка сделала испуганное лицо, нарочно, чтобы няня заметила, и, ускорив шаг, пошла под липу.

Лиза побежала в густые заросли крыжовника, повалилась в траву и громко всхлипнула.

Теперь вся жизнь ее была разбита.

Она лежала и, закрыв глаза, видела тонкую Стешкину косичку, и грязную голубую тряпку-завязушку, и худую Стешкину шею, черную, как палка.

А няня гладит ее и приговаривает: «Умница, Стешенька! Вот ужо я тебе пеночек дам!»

– Пе-еночек! Пе-еночек! – шепчет Лиза, и каждый раз от этого слова делается так больно, так горько, что слезы текут из глаз прямо в уши.

– Пе-еночек!

– А ведь может и так быть, что пойдет Стешка за щепками, да и помрет. Вот все и поправится!

Нет, не поправится. Няня жалеть станет. Скажет: «Вот была умница да и померла. Лучше бы Лиза померла». И снова слезы текут прямо в уши.

– Нечего сказать, нашла умницу! Необразованную. Я учусь. Я по-французски умею: жэ, тью а, иль а, вузавэ, нузавэ...<sup>3</sup> Я вырасту большая, выйду замуж за генерала, приеду сюда, скажу: «Это что за девчонка? Выгоните ее вон, она украла мою голубую тряпку себе в косу».

Лизе стало уже немножко легче, да вдруг вспомнились пеночки.

– Нет! Ничего этого не будет! Теперь всему конец. Она и домой не пойдет. К чему?

Она ляжет вот так на спину, как прачка Марья, когда померла. Закроет глаза и будет лежать тихо-тихо.

Увидит бог и пошлет ангелов за ее душенькой.

Прилетят ангелы, крылышками зашуршат, – ффр... и понесут ее душеньку высоко-высоко.

А дома сядут обедать, и все будут удивляться:

– Что это с Лизой?

– Отчего это Лиза ничего не ест?

– Отчего это наша Лиза стала такая бледная? – А она все молчит и ни на кого не смотрит.

А мама вдруг и догадается!

– Да как же, – скажет, – вы не понимаете? Ведь это она умерла!

---

<sup>3</sup> Я имею, ты имеешь, он имеет, вы имеете, мы имеем... (искаж. фр.).

Лиза сидит тихо, умиленно вздыхает, смотрит на свои тонкие ноги в чулках «смертного» цвета. Вот и умерла она, вот и умерла.

Гудит что-то, гудит все ближе, ближе... и вдруг – бац прямо Лизе в лоб. Это толстый майский жук, пьяный от солнца, налетел, ударился и сам свалился.

Лиза вскочила и бросилась бежать.

– Няня! Няня-а! Меня жук ударил! Жук дерется! – Няня испугалась, смотрит ласково:

– Чего ты, глупенькая? И знаку никакого нету. Это тебе так показалось. Присядь, умница, присядь на скамеечку, вот я тебе сейчас пеночек дам, хороших пеночек. Хочешь? А?

«Пе-еночек! Пе-еночек!» – засмеялось что-то у Лизы глубоко в самой душе, которую не успели унести божьи ангелы.

– Няня, я никогда не помру? Правда? Буду много супу есть, молоко пить и не помру. Правда?

## Брошечка

Супруги Шариковы поссорились из-за актрисы Крутомирской, которая была так глупа, что даже не умела отличать женского голоса от мужского, и однажды, позвонив к Шарикову по телефону, закричала прямо в ухо подошедшей на звонок супруге его:

– Дорогой Гамлет! Ваши ласки горят в моем организме бесконечным числом огней!

Шарикову в тот же вечер приготовили постель в кабинете, а утром жена прислала ему вместе с кофе записку:

«Ни в какие объяснения вступать не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Антасия Шарикова».

Так как самому Шарикову, собственно говоря, тоже ни в какие объяснения вступать не хотелось, то он и не настаивал, а только старался несколько дней не показываться жене на глаза. Уходил рано на службу, обедал в ресторане, а вечера проводил с актрисой Крутомирской, часто интригуя ее загадочной фразой:

– Мы с вами все равно прокляты и можем искать спасения только друг в друге.

Крутомирская восклицала:

– Гамлет! В вас много искренности! Отчего вы не пошли на сцену?

Так мирно протекло несколько дней, и вот однажды утром, а именно в пятницу десятого числа, одеваясь, Шариков увидел на полу около дивана, на котором он спал, маленькую брошечку с красноватым камешком.

Шариков поднял брошечку, рассматривал и думал:

«У жены такой вещицы нет. Это я знаю наверное. Следовательно, я сам вытряхнул ее из своего платья. Нет ли там еще чего?»

Он старательно вытряс сюртук, вывернул все карманы.

И вдруг он лукаво усмехнулся и подмигнул себе левым глазом.

Дело было ясное: брошечку сунула ему в карман сама Крутомирская, желая подшутить. Остроумные люди часто так шутят – подсунул кому-нибудь свою вещь, а потом говорят: «А ну-ка, где мой портсигар или часы? А ну-ка, обобщем-ка Ивана Семеныча».

Найдут и хохочут. Это очень смешно.

Вечером Шариков вошел в уборную Крутомирской и, лукаво улыбаясь, подал ей брошечку, завернутую в бумагу.

– Позвольте вам преподнести, хе-хе!

– Не к чему это! Зачем вы беспокоитесь! – деликатничала актриса, развертывая подарок. Но когда развернула и рассмотрела, вдруг бросила его на стол и надула губы:

– Я вас не понимаю! Это, очевидно, шутка! Подарите эту дрянь вашей горничной. Я не ношу серебряной дряни с фальшивым стеклом.

– С фальшивым стеклом-ом? – удивился Шариков. – Да ведь это же ваша брошка! И разве бывает фальшивое стекло?

Крутомирская заплакала и одновременно затопала ногами – из двух ролей зараз.

– Я всегда знала, что я для вас ничтожество! Но я не позволю играть честью женщины!.. Берите эту гадость! Берите! Я не хочу до нее дотрагиваться: она, может быть, ядовитая!

Сколько ни убеждал ее Шариков в благородстве своих намерений, Крутомирская выгнала его вон.

Уходя, Шариков еще надеялся, что все это уладится, но услышал пущенное вдогонку: «Туда же! Нашелся Гамлет! Чинуш несчастный!»

Тут он потерял надежду.

На другой день надежда воскресла без всякой причины, сама собой, и он снова поехал к Крутомирской. Но та не приняла его. Он сам слышал, как сказали:



– Шариков? Не принимать!

И сказал это – что хуже всего – мужской голос. На третий день Шариков пришел к обеду домой и сказал жене:

– Милая! Я знаю, что ты святая, а я подлец. Но нужно же понимать человеческую душу!

– Ладно! – сказала жена. – Я уж четыре раза понимала человеческую душу! Да-с! В сентябре понимала, когда с бонной снюхались, и у Поповых на даче понимала, и в прошлом году, когда Маруськино письмо нашли. Ничего, ничего! И из-за Анны Петровны тоже понимала. Ну а теперь баста!

Шариков сложил руки, точно шел к причастию, и сказал кротко:

– Только на этот раз прости! Наточка! За прошлые раза не прошу! За прошлые не прощай. Бог с тобой! Я действительно был подлецом, но теперь клянусь тебе, что все кончено.

– Все кончено? А это что?

И, вынув из кармана загадочную брошечку, она поднесла ее к самому носу Шарикова. И, с достоинством повернувшись, прибавила:

– Я попросила бы вас не приносить, по крайней мере, домой вещественных доказательств вашей невинности, ха-ха!.. Я нашла это в вашем сюртуке. Возьмите эту дрянь, она жжет мне руки!

Шариков покорно спрятал брошечку в жилетный карман и целую ночь думал о ней. А утром решительными шагами пошел к жене:

– Я все понимаю, – сказал он. – Вы хотите развода. Я согласен.

– Я тоже согласна! – неожиданно обрадовалась жена. Шариков удивился:

– Вы любите другого?

– Может быть. – Шариков засопел носом.

– Он на вас никогда не женится.

– Нет, женится!

– Хотел бы я видеть... Ха-ха!

– Во всяком случае, вас это не касается. – Шариков вспыхнул:

– По-озвольте! Муж моей жены меня не касается. Нет, каково? А?

Помолчали.

– Во всяком случае, я согласен. Но перед тем как мы расстанемся окончательно, мне хотелось бы выяснить один вопрос. Скажите, кто у вас был в пятницу вечером?

Шарикова чуть-чуть покраснела и ответила неестественно честным голосом:

– Очень просто: заходил Чибисов на одну минутку. Только спросил, где ты, и сейчас же ушел. Даже не раздевался ничуть.

– А не в кабинете ли на диване сидел Чибисов? – медленно проскандировал Шариков, пронизательно щуря глаза.

– А что?

– Тогда все ясно. Брошка, которую вы мне тыкали в нос, принадлежит Чибисову. Он ее здесь потерял.

– Что за вздор! Он брошек не носит! Он мужчина!

– На себе не носит, а кому-нибудь носит и дарит. Какой-нибудь актрисе, которая никогда и Гамлета-то в глаза не видала. Ха-ха! Он ей брошки носит, а она его чинушом ругает. Дело очень известное! Ха-ха! Можете передать ему сокровище.

Он швырнул брошку на стол и вышел.

Шарикова долго плакала. От одиннадцати до без четверти два. Затем запаковала брошечку в коробку из-под духов и написала письмо.

«Объяснений никаких не желаю. Все слишком ясно и слишком гнусно. Взглянув на посылаемый вам предмет, вы поймете, что мне все известно.

Я с горечью вспоминаю слова поэта:

Так вот где таилась погибель моя: Мне смертью кость угрожала.

В данном случае кость – это вы. Хотя, конечно, ни о какой смерти не может быть и речи. Я испытываю стыд за свою ошибку, но смерти я не испытываю. Прощайте. Кланяйтесь от меня той, которая едет на «Гамлета», зашливаясь брошкой в полтинник.

Вы поняли намек?

Забудь, если можешь!

А.»

Ответ на письмо пришел в тот же вечер. Шарикова читала его круглыми от бешенства глазами.

«Милостивая государыня! Ваше истерическое послание я прочел и пользуюсь случаем, чтобы откланяться. Вы облегчили мне тяжелую развязку. Присланную вами, очевидно, чтобы оскорбить меня, штуку я отдал швейцарихе. Sic transit Catilina<sup>4</sup>. Евгений Чибисов».

Шарикова горько усмехнулась и спросила сама себя, указывая на письмо:

– И это они называют любовью?

Хотя никто этого письма любовью не называл. Потом позвала горничную:

– Где барин?

Горничная была чем-то расстроена и даже заплакана.

– Уехадчи! – отвечала она. – Уложили чемодан и дворнику велели отметить.

– А-а! Хорошо! Пусть! А ты чего плачешь?

Горничная сморщилась, закрыла рот рукой и запричитала. Сначала слышно было только «вяу-вяу», потом и слова:

– ...Из-за дряни, прости господи, из-за полтинной человека истребил...ил...

– Кто?

– Да жених мой – Митрий, приказчик. Он, барыня-голубушка, подарил мне брошечку, а она и пропади. Уж и искала, искала... с ног сбилась, да, видно, лихой человек скрал. А Митрий кричит: «Растеряха ты! Я думал, у тебя капитал скоплен, а разве у растерях капитал бывает». На деньги мои зарился... вяу-вяу!

– Какую брошечку? – похолодев, спросила Шарикова.

– Обнаковенную, с красненьким, быдто с леденцом, чтоб ей лопнуть!

– Что же это?

Шарикова так долго стояла, выпучив глаза на горничную, что та испугалась и притихла.

Шарикова думала:

«Так хорошо жили, все было шито-крыто, и жизнь была полна. И вот свалилась на голову эта окаянная брошка и точно ключом все открыла. Теперь ни мужа, ни Чибисова. И Феньку жених бросил. И зачем это все? Как все это опять закрыть? Как быть?»

И так как совершенно не знала, как быть, то топнула ногой и крикнула на горничную:

– Пошла вон, дура!

А впрочем, больше ведь ничего не оставалось!

---

<sup>4</sup> Так уходит Катилина (лат.).

## Была весна...

На второй день праздника купец Простов предоставил, как всегда, свою таратаечку в распоряжение Марельникова, смотрителя земской арестантской. Четыре года тому назад сидел купец Простов двенадцать дней за буйство и за эти двенадцать дней полюбил тихого Марельникова, Ардальона Петровича, заходившего к нему в комнату по вечерам тихо потренироваться на гитаре:

Ты скоро меня позабудешь,  
А я никогда, никогда.

И вот с тех пор – уже четвертый раз – дает купец Простов Марельникову на второй день праздника покататься в своей таратаечке.

И каждый раз, проезжая по шоссе мимо монастырской рощицы, вдоль покрытых зеленой щетинкой полей, думалось Марельникову, что он помещик, объезжает свои владения и обдумывает хозяйство.

Человек он был городской, в городе выросший, дальше Боровицкого уезда никуда не выезжавший, но что подделаешь – жили в душе его какие-то «озимые», «умолот», «яровые» и «запашки», и вот так, распустив вожжи, уперевшись расставленными ногами в передок таратайки, вдыхая широкими ноздрями запах весенней воды, душистый, как разрезанный первый огурчик, а несет этот запах молодой ветерок, просеивает через лиловую голую рощицу, вздувает Марельникову бородачку – вот так, поглядывая на луга и овражки, до того чувствует себя Марельников настоящим хозяином, что, окликни его какая-нибудь великая земная власть – исправник, губернатор: «Эй, кто таков будешь?» – кликнул бы от всей оторопи своей: «Землевладелец-с!»

И ничего в этом нет удивительного. Много на Руси встречалось и встречается таких не то что мечтателей, а духом живущих другой жизнью и порой столь напряженно и реально, что даже не знаешь, какое за таким человеком существование следует утвердить – помощник ли он провизора или реорганизатор русского флота?

Марельников был землевладельцем. Купцова лошадь, новокупка, сытая, с глубоким желобом посреди крупа, свободно и легко несла легкую таратаечку и не обращала никакого внимания на седока: сама прибавляла шагу, где считала нужным, сама переходила на ту сторону дороги, где посуше.

Марельников нюхал веселый ветерок и думал о хозяйственном. Знаний у него по этой части не было, но зато были планы и советы.

– Пчельник завести. Всем советую заводить пчельники. Образцовые. Без всяких трутней. Трутней отделить, посадить на меньший рацион, а то и просто поморить голодом. Небось живо заработают. Почему все твари приспособляются, один трутень не может. Эдак всякий распустится. Развалится, а другие за него работай. Так вот что, если обратить на это серьезное внимание, то пчельник можно поднять до самых высоких ступеней продукции.

Из придорожной монастырской часовенки вышел монашек с зеленой бородачкой, в прозеленевшей ветхой ряске, разглядел сытого конька прижмуренными глазами и поклонился, держа двумя руками подающую книжечку.

Марельников тпрукнул на лошадь, достал пятак. В другое время не подал бы. Ну а помещик Марельников подает на Божий храм.

За часовенкой пора было повернуть к городу. Поворачивать было страшновато – дорога узкая, не вывернуться бы на сторону. Но сытый конек – и откуда это ему? – живо понял, в чем

дело, и не успел Марельников потянуть левую вожжу, как тот сам повернулся круто, чуть не на одном месте, и помчался домой.

«Неприятная лошадь», – думал Марельников, крепко держась за вожжи.

Подъезжая к городу, он вдруг насторожился и у третьего дома, маленького, деревянного, облупленного, серого, решительно потянул вожжи, остановился и вылез.

Поднялся во второй этаж, где в сенцах на подоконнике стояли выставленные на холод, хозяйственно прикрытые дощечками крыночки, горшочки и латочки. Посмотрел, усмехнулся, приосанился и дернул ручку звонка.

Дверь открыла девчонка, опрометью кинувшаяся куда-то вбок. Потом чей-то голос сказал:

– Ишь! На ночь глядя...

И вошла она.

В сумерках полное лицо ее казалось бледнее и глаза темнее и больше. Кроме того, на ней было что-то новое, невиданно прекрасное, вроде тюлевого шарфика, завязанного под подбородком пышным бантом.

– Христос Воскресе! – начал было помещичьим бравым тоном Марельников и даже лихим вывертом расправил усы, собираясь целоваться, но сумерки, и томность, и бледность сразу подсекли и погасили его удаль. И тихим голосом спросил он:

– Разрешите на минуточку, Лизавета Андреевна... только справиться о здоровье.

– Спасибо! – печально ответила хозяйка. – Я здорова.

И она вздохнула.

Там, в земском кооперативе, стоя за кассой в перчатках с обрезанными кончиками пальцев, в гарусном платке на плечах, она была совсем другой. Конечно, и там она была очаровательна, но то, что здесь, – это даже чересчур.

– Изволили быть у заутрени? – совсем уж робко спросил Марельников.

– Мы же в церкви виделись, чего же вы спрашиваете?

Марельников смущенно кашлянул:

– В монастыре служба лучше, чем в соборе. Хотя в соборе дьякон преобладает.

Хозяйка в ответ только тихо вздохнула и, повернув лицо к окну, стала смотреть в прозрачное зеленое небо.

Марельников снова кашлянул:

– А я сегодня, знаете ли, проехался немножко...

Она молчала, и он прибавил уже совсем безнадежно и отчаянно:

– По-помещичьи...

И замолк тоже.

Потом она, не поворачивая головы, сказала:

– Получила вчера письмо от Клуши. Она сама ушла из труппы, так что для меня амплуа уже найти не сможет.

И снова замолчала.

Марельников притих и слушал душой ее думы.

Думала она о том, как приезжала два года тому назад фельдшерова Клуша, бывшая подруга ее по прогимназии, теперь актриса, приезжала с труппой, как заболела одна из актрис, и Клуша предложила ей, Лизавете Андреевне, попробовать свои силы. И сыграла она в пьесе «Съехались, перепутались и разъехались» горничную так хорошо, что даже сам земский начальник признавался открыто, что совсем ее не узнал. Потом труппа уехала. А Лизавета Андреевна осталась брошенная. Клуша как будто обещала... И вот два года прошло, два года.

Марельников двинул стулом, и рядом в углу что-то отозвалось звенящим стоном.

– Гитара!

Он встал и на цыпочках сделал шаг, взял гитару, сел. Тихо заговорили струны под толстыми осторожными пальцами. Запел убедительным говорком в нос:

Ты будешь, Агния, томиться,  
Ты будешь ужасно страдать.  
Ты будешь рыдать и молиться,  
Но с любовью нельзя совладать...

И повторили струны убедительным говорком:

Нельзя совладать...

– А скажите, Лизавета Андреевна, – вдруг сказал он и замолчал, испугавшись своего громкого голоса.

Но надо было продолжать, потому что она повернула голову:

– Скажите, вы согласились бы быть женой помещика?

Она покачала головой:

– Зарыть себя навсегда в деревне? Навеки отказаться от мечты? Я знаю – жизнь актрисы тяжела. Интриги. Закулисные дрязги. Но человек, который посвятил себя искусству, должен быть выше этого. И должен быть прежде всего свободен.

Марельников встал, с шумом отодвинул стул и голосом, каким говорят в большой компании, бодрым и громким, сказал:

– Разрешите откланяться, милейшая Лизавета Андреевна... С самыми лучшими пожеланиями. Всего доброго и до скорого-с! Хе-хе!

Она проводила его до сеней, он снова расшаркался и громко застучал сапогами по лестнице.

На дворе было уже темно, а в небе ясно различалась серебряная в зеленых лучиках звезда. Холодно!

Купцов конек задумался у крыльца, слившись с сумерками, стал тихий. Звякнул подковой по мостовой.

На повороте Марельников обернулся.

В сером домике засветилось теплым жилым оранжевым светом окошечко.

– Живет! Ну что ж! Пусть. Пусть живет...

Он тронул конька вожжей и уже бравым помещиком крякнул молодецки:

– Э, чего там, брат! На актрисах, брат, не женятся!

И, колыхнувшись на ухабе, повернул к купцову дому сдавать таратаечку.

– До будущего, значит, года? Хе-хе! До будущего...

## Сирано де Бержерак

Утром обогнули маяк, и море успокоилось.

Желтое весеннее солнце сразу припекло палубу. Запахло мокрой паклей, смолой и деревом.

Из кают вылезли измотавшиеся за ночь пассажиры, шурились, радовались, рассказывали друг другу, как геройски переносили качку.

Актриса Богратова, зеленая, как плед, в которой она куталась, поднялась на палубу и села спиной к солнцу – греть спину. Ее знобило после скверной ночи. Хотелось поплакать и пожаловаться – да некому.

«Не надо было ссориться с генералом. Он идиот, но во время такого ужасного путешествия был бы полезен».

Он бы раздражал ее, это верно, и делал бы все не то, что нужно. Пролил бы одеколон в чемодане и непременно внутри чемодана, чтобы перепортить все вещи. Намокла бы красная шаль и слиняла бы на розовое шелковое белье. А идиот уверял бы, что в красильне отчистят, хотя она уже сорок раз говорила ему, что такие пятна не выходят. Потом он... что бы он еще сделал? Занял бы каюту около самой топки, это уж конечно. Он иначе не может. Мигрень на всю ночь была бы обеспечена. А он пошел бы за кипятком и провалился бы в какой-нибудь люк и потом корчил бы жалобные лица, что он, мол, ни в чем не виноват.

Как подумаешь, так одиночество все-таки лучше.

Она томно вздохнула.

– Машенька! Машенька! Тру-ля-ля! – запел около нее мужской голос.

Молоденький чернобровый мичман, закинув голову, глядел на верхнюю палубу, приплясывал и делал жесты, будто играет на гитаре.

– Взгляните, Машенька, вы на меня!

Опираясь на перила тонкими загорелыми руками, смотрела на него сверху прехорошенькая румяная девушка, совсем молоденькая, в белом платье с оборочками, в чувяках на босу ногу. Голова у нее была повязана ярко-красным платочком. Она улыбалась смущенно и задорно, платочек такой был радостный на белом фоне паровой трубы, что совсем понятно выходило, что мичман приплясывает и поет ерунду.

Машенька сложила руки рупором и закричала:

– Отвя-жи-тесь!

Пассажиры, подняв головы, смотрели на нее, улыбаясь.

– Машенька! Вы богиня нашего парохода. Все рыбы на семь миль в окружности дохнут от любви к вам. Кок говорит, что все стали тухлые. Машенька!

– Отвя-жи-тесь!

Она брыкнула ножками, сконфуженная и польщенная, и убежала.

– Кто эта барышня? – спросила Богратова.

Мичман обернулся, погасил улыбку и сказал строго:

– Дочь капитана. Мадмазель Петухова.

Потянулся обычный паровой день. Звонили склянки, гремела цепь, тыкались по всем углам томящиеся пассажиры.

Изредка вспыхивал на верхней палубе красный платочек.

– Машенька, Машенька! – раздавалось со всех сторон.

– Славная девчонка у нашего капитана.

– А куда такую дурочку денешь? Ни денег, ни образования.

– Жаль капитана – забот столько.

Богратова, вялая и сонная, легла спать с семи часов вечера, но около часу проснулась и почувствовала, что больше не заснет.

В каютке было душно и скучно. Богратова накинула шаль на короткий ночной капотик, надела мягкие ночные туфли и поднялась на палубу.

Ночь была тихая, лунная. Пассажиров ни души. Все спали. Пароход скользил в луне и в море, весь легкий и белый.

Богратова пошла к носу. Перелезла через свернутые канаты, сваленные мешки и рогажи и вдруг там за мешками, на самом лунном припеке, увидела лежащую человеческую фигуру – руки разбросаны, голова жутко закинута назад – труп!

Богратова вскрикнула и юркнула за мешки.

– Машенька! – позвал труп. – Не бойтесь! Я беру лунную ванну и мечтаю о вас.

– Я не Машенька, – ответила Богратова, узнав голос утреннего мичмана.

Тот расхохотался.

– Глупенькая вы моя, Машенька! Капитанская моя дочка! Да я вас узнал прежде, чем вы ахнули. По дуновению юбочки вашей узнал, по ножкам быстрым и неслышным.

– Да уверяю же вас, что я не Машенька!

– Господи! Она, кажется, собирается меня интриговать! Я бы вытащил вас сюда, да мне шевелиться лень. И скоро на вахту. Машенька, я люблю вас.

Богратова завернулась плотнее в шаль и хотела уйти, но вместо того улыбнулась и села на рогажу.

– Да, я люблю вас, Машенька, но вам семнадцать лет и вы совсем, совсем глупая. Летато вам еще набегут, но поумнеете вы вряд ли. Беда!

– Однако! – усмехнулась Богратова. – Ловко вы с вашей Машенькой расправляетесь.

– С моей Машенькой! Да, да, вы моя. Что поделаешь! Знаю вас всего неделю, а готов хоть сейчас жениться, но как я вас покажу, такую, папеньке с маменькой? Папенька у меня адмирал, маменька дама томная, рожденная баронесса Флихте фон Флихтен. Ну как я им покажу вас, милую мою капитанскую дочку!

– Послушайте, молодой человек. Вы меня совершенно не знаете. Допустим, что я действительно Машенька. Неужели вы думаете, что за две недели можно так, до самого дна, узнать женскую душу со всеми ее возможностями?

– Хо-хо! Как моя Машенька-то заговорила! Ну подойдите ко мне.

– Нет, я не подойду, и если вы сделаете хоть один шаг ко мне, я сейчас же убегу, и все между нами будет кончено.

– Н-ну, ладно. Будем так говорить. Скажите мне – вы могли бы меня полюбить?

– Прежде всего, друг мой, любовь есть чувство иррациональное. Понимаете? Я не только не могу знать...

– Что-о? Как вы сказали? Ей-Богу, мне показалось, что это луна говорит. Проще поверить, что луна.

– Если вы будете все время издеваться, я перестану говорить.

– Не сердитесь, Машенька, но, право, мне так странно... И отчего вы не зовете меня Костей?

– Милый друг, сейчас, в этой лунной сказке, вы для меня не Костя. Вы для меня собеседник. Понимаете? Собеседник с большой буквы.

– С большой бу... Машенька, а вы не спятили?

– Не будем вульгарны, друг мой. Разве вы не чувствуете, как дрожит луна в вашем сердце? Как плещут волны морские в моем? Молчите, я прочту вам дивное стихотворение. Слушайте. «Любовь – это сон упоительный...»

И она тихо, но с пафосом прочла отрывок из «Принцессы Грезы». Прочла и замерла.

– Все? – спросил Костя.

– Все, – шепнула она. – Это из «Принцессы Грезы».

– А вы откуда знаете? Вы же в театрах не бывали?

– Я читала. Я люблю все прекрасное – солнце, звезды и цветы. Я люблю поэзию, я знаю наизусть всего Надсона. Я – странное, нездешнее существо. Никто не понимает меня. «Я никем не любимый цветок, я зовусь полевая ромашка» – так сказал бы про меня Бальмонт. Я никого не могу любить. Целые дни глаза мои отражают море, целые ночи – звезды. Моя душа соткана из зыбких туманов...

– Машенька! Машенька! Подойдите ко мне... мог ли я думать...

Она услышала, что он подымается.

– Не смейте! Иначе – все кончено. Слушайте, завтра в это же время я приду сюда опять, но с условием: обещайте, что весь день вы не скажете со мной ни слова и ничем не намекнете, что видели и говорили со мной ночью.

– Клянусь! Только приходите. Я раб ваш... я ничего не понимаю. Я идиот, и мне пора на вахту.

– Не двигайтесь. Я уйду прежде.

– Нич-чего не понимаю!

\* \* \*

Богратова долго улыбалась, лежа на своей койке.

– Я заставлю его этими ночными беседами безумно влюбиться и жениться на Машеньке. Вот дивное приключение! Совсем Сирано де Бержерак. Благодаря моему уму и таланту он влюбится... в Машеньку.

Богратовой было весело.

\* \* \*

Весь день она обдумывала, что бы такое особенно яркое сказать, что продекламировать, как себя держать.

Наблюдала – не встретится ли мичман с Машенькой. Нет, мичмана не было видно. Машенька тихо сидела на верхней палубе с книжкой на коленях и не смеялась. Мичман держал клятву.

В половине первого Богратова вышла из своей каюты и тихо, стараясь держаться в тени, полезла за вчерашние мешки. Мичмана еще не было.

«Мне плыть только двое суток. Успею ли за это время?»

Прыгая через канаты, тяжело дыша, Костя пробрался мимо.

– Ай! Машенька!

– Садитесь на вчерашнее место и не двигайтесь, а то я убегу.

– Чего вы боитесь, Машенька? Я вас очень уважаю. Мне сегодня хотелось бы очень, очень серьезно поговорить с вами.

– Я вас буду серьезно слушать.

– Весь день я думал о вас. Я видел, как вы сидели с книжкой. Как мог я думать, что вы некультурная девчонка! Вы просто молодая и веселая, а ведь с вами никто и не говорил как следует. Все думают так: хорошенькая куколка – и все тут. Но какая вы сегодня были очаровательная с этой книжкой на коленях! Немножко печальная... Мне казалось, что вы, может быть, тоже думаете обо мне и ждете ночи? Да? Да?

– Молчите! «Мысль изреченная есть ложь», как сказал великий поэт.

– Дорогая, подождите, поговорим просто. У моих родителей есть именице...



– О Боже мой! Не надо! Не надо! Разве об этом будем мы говорить теперь, «когда дрожат сердца струны», как поется в романсе... Когда «звезды на небе, звезды на море, звезды и в сердце моем»... Молчите! И потом – я боюсь любви. Я «безумно боюсь золотистого плена»... как сказал бессмертный Вертинский. Ах, нет, молчите, молчите!

– Да я и так молчу.

– Какая ночь! Милый, милый! В такую ночь хорошенькая Джесика... Лимоном и лавром пахнет... Это Шекспир.

– А все-таки было бы хорошо, если бы вы разрешили мне подойти к вам, взять вас за руку и сказать...

– Не смейте! Вы дали слово!..

– Мари! Дорогая! Когда я сегодня смотрел на вас, тихую, милую, с книжкой на коленях, я понял, как я люблю вас, Мари!

Богратова забеспокоилась. Положительно, этот идиот сейчас же затеет жениться, все выяснится, а плыть еще двое суток – с тоски помрешь. Только и развлеченья что его колпачить.

– Мари! Хотите быть моей женой?

Хлоп! Готово! Теперь что же...

– Друг мой! Только не подходите. И завтра весь день опять ни слова. Ночью здесь я скажу вам все. А сейчас я хочу прочесть вам одно стихотворение. Это стихотворение посвятил мне один известный поэт, когда плыл на нашем пароходе. Слушайте. «О, если мне порой в прекрасном сновиденье...»

Она прочла это стихотворение Байрона и смолкла.

– На-да-м, – сказал Костя. – Какую массу стихов вы вызубрили. А борщ варить умеете?

– Вы гру-бы, – проскандировала Богратова.

– Простите, но все так странно. Я предлагаю вам быть моей женой, а вы вместо ответа шпарите стихи какого-то дурака.

– Дурака! Да ведь это Байрон!

– Стало быть, Байрон на вашем пароходе катался? Ловко! Ай да барышня!

– Я... пошутила... это не Байрон. Но почему вы заговорили о... о домашнем хозяйстве? (Я не хочу говорить грубое слово... «борщ».) Точно облагораживающее влияние женщины заключается в том, чтобы угодить низменным вкусам мужа. Я поведу вас неведомыми тропами к сияющим звездам новой зари!..

– Уф! – сказал Костя.

– Что?

– Да ничего, ничего. Валяйте дальше.

Богратова помолчала, потом прочла поэму «Аспазия», потом «Письмо» Апухтина, потом «Довольно, встаньте!». Потом начала было «Разбитую вазу», как мичман вскочил.

– Слушайте, Машенька. Теперь закончим наше литературное отделение. Завтра в это же время вы придете сюда без всяких прятков – надоел этот вздор – и скажете мне человеческим языком, хотите ли вы быть моей женой. А сейчас я должен сменять вахту.

\* \* \*

Богратова осталась немножко разочарованная.

– Грубый неуч. Эта дура, пожалуй, совсем ему под пару. Но все-таки я свое дело сделала. Он хочет, чтобы Машенька, то есть я, была его женой. Не та Машенька, которую он видит, а та тонкая, дивная, благоуханная душа, которую я показала ему.

\* \* \*

Весь день Машеньки не было видно. Мичман, злой и нервный, даже не смотрел на верхнюю палубу.

«Уж не переговорили ли они? – встревожилась Богратова. – Надо скорее кончать».

Вечером она закуталась с головою и забилась поглубже за мешки, хотя небо было облачное и луна спряталась.

Мичман был уже на своем посту и сразу услышал ее приход.

– А, вы здесь? – спросил он. – Вот что, друг мой. Я сегодня тороплюсь и поэтому буду краток. Попрошу вас только об одном: простите меня, не сердитесь, забудьте все, что я наболтал. Выслушайте меня спокойно. Я просто был глуп и молодо влюблен в вас, в вас, хорошенькую Машеньку. Но потом, когда я во время этих ночных свиданий узнал вас по-настоящему, я понял, что мы не пара. Я, очевидно, человек простой, а у вас все какая-то мелодекламация. Родители мои люди старого уклада, именище маленькое – ну куда вы там со своей декламацией. Отец обидится. Я думал, вы простенькая девочка, что вас немножко отшлифовать... И, главное, думал, что вы ужасно любите меня... Ну, Бог с вами. Тем лучше. Совесть меня не упрекнет. Я ни слова не скажу вам, будто ничего и не было. А через неделю, а то и раньше, спишусь на другой пароход. Прощай, милая моя мечта, радость моя, Машенька, капитанская дочка!

\* \* \*

«Как он груб, – думала Богратова, укладываясь на свою койку. – Если бы не было противно говорить с этим идиотом, я бы открыла ему, кто я, и пусть бы женился на своей дуре. Но все это надоело. И не все ли мне равно, поженится или не поженится пара молодых идиотов!»

Она уже засыпала, как вдруг неожиданно для себя почувствовала, что плачет.

Но не поняла почему.

## Сватовство

Она подмазала брови и губы, причесала волосы гладко, чтобы четко выделился профиль, и надела темно-красное платье, потому что для своей Каточки, для своей милой подружки, готова была на все.

Корнев эстет. Корнев и разговаривать не станет с вульгарно причесанной и пошло одетой женщиной.

А нужно его заставить не только разговаривать, но внимательно вслушаться в ее советы и доводы. Вслушаться и послушаться.

Она волновалась. Смотрела в зеркало, репетировала наиболее ответственные фразы.

– Вы должны это сделать! – говорила она сама себе в зеркало и властно сдвигала подмазанные брови. – Вы должны сделать Каточку своей женой. Любовь одной рукой дает нам права, а другой накладывает на нас обязанности... Нет, положительно, лицо должно быть при этом бледнее!

Она долго и тщательно втирала пудру, подправляла кисточкой брови и снова репетировала:

– Любовь одной рукой дает права, а другой... Теперь лучше.

Как это все трудно! Но, милая Каточка, ты можешь быть спокойна. Ты доверила свою судьбу другу умному и опытному.

Наконец!

Корнев пришел очень оживленный и немножко удивленный.

– Вы меня очень обрадовали, милая Лидочка, вашей запиской, но очень удивили обещанием какого-то серьезного разговора. В чем же дело?

Она повернулась в профиль, властно сдвинула брови и сказала твердо:

– Владимир Михайлович! Любовь одной рукой дает вам права, а другой накладывает...

– Как? – удивился Корнев. – Другой рукой накладывает...

– Не перебивайте меня! – вспыхнула Лидочка. – Другой рукой накладывает обязанности.

Корнев подумал, потом взял собеседницу за обе руки и поцеловал сначала одну, потом другую:

– Я всегда знал, что вы хорошая и серьезная женщина. Только почему вы говорите со мной, точно миссионер с эфиопом? В чем я провинился?

Лидочка растерялась:

– Нет, Вовочка, вы не провинились; только вы очень легкомысленный человек, и я боюсь за судьбу моего друга.

Лицо Корнева сделалось серьезным.

– В чем дело, Лидочка, говорите прямо. Речь идет, очевидно, о Каточке?

– Да, вы угадали. Я лучший друг Каточки. Я дала ей слово, что никому ничего не скажу.

И я сдержу клятву. Вы знаете, что Каточка уехала к тетке в Киев?

– В Киев? Когда? Зачем?

– Вчера. Уехала от вас. И я поклялась, что не открою вам место ее пребывания, и я не открою.

– Да ведь вы же сказали, что она в Киеве.

– Разве? Ну это я так, вскользь.

– Послушайте, Лидочка, не мучьте меня! Скажите мне правду – в чем дело? Уверю вас, что для меня это очень серьезно.

Он даже побледнел. Лидочка посмотрела на него с некоторым недоумением.

«Неужели он действительно серьезно любит эту Катюшку-вертушку?»

– Извольте, я скажу вам правду, – торжественно ответила она. – Мой друг, Каточка Леже-нева, любит вас серьезно и искренно. На легкий флирт она не способна. Она рождена быть женой и матерью, а вы рвете ее сердце и относитесь к ней легкомысленно. И вот она решила бежать от вас и там, в уединении, или забыть вас, или...

Она зловеще замолчала. Он схватил ее за руки:

– Лидочка! Ради Бога! Что вы говорите! Ведь я же люблю ее!

– Может быть, – иронически скривила губы Лидочка. – Может быть, и любите, но не той любовью, какую заслуживает такая женщина.

– Но ведь это же недоразумение! Я люблю ее очень серьезно. Я собирался просить ее руки.

– Неужели? – совершенно некстати удивилась Лидочка.

– Да! да! Я считаю Каточку очень серьезной и умной девушкой...

– Ну относительно этого я, положим, с вами не согласна. В гимназии она еле плелась. На выпускном экзамене ответила, что Герострат был конь Александра Македонского. Нет, уж будем откровенны – умной ее никак нельзя назвать. Я могу это сказать, потому что я лучший ее друг.

– Я, конечно, не спорю, – замялся Корнев, – но у нее такая серьезная и глубокая душа, какой я не встречал у современных женщин.

Лидочка вспыхнула. Кому приятно выслушивать такие вещи?

– Серьезная, ха-ха! За новую шляпку душу продаст!

– Ну что вы говорите! Конечно, она любит все красивое, как всякое талантливое существо.

– Это Каточка-то талантливая? Каточка, которая с трудом одним пальцем на рояле тренькает. «Мадам Лю-лю-у! Я вас люблю-у!» Как моторный гудок. Ха-ха! Ну и удивили же вы меня!

– Так вы не находите ее талантливой? – опечалился Корнев. – Что ж, может быть, вы и правы. Когда смотришь на такое очаровательное личико, как у нее, то невольно приписываешь ему какие-нибудь душевные качества. У нее очаровательная внешность. Она так выделяется между всеми своими приятельницами. Такая изящная красота! Акварельная какая-то!

Лидочка даже побледнела.

«Вот идиот какой нашелся! Прямо какой-то бешеный».

– Ну знаете, Владимир Михайлович, можно быть смешным, но не до такой степени! У Каточки изящная красота! Конечно, когда она вымажет на себя четыре банки краски всех цветов, так трудно не сделаться акварелью. А вы бы посмотрели на нее утром, пока она не успела еще наvertеть на себя фальшивые подкладки да накладки. То-то бы удивились! Мне вы можете верить. Я ее лучший друг и знаю все ее тайны.

Корнев притих и долго молчал.

– Лидия Николаевна, – сказал он наконец. – Не шадите меня, она, скажите мне правду, – она поручила вам поговорить со мною?

– Нет!.. то есть да. Я дала слово не выдавать ее, но ведь вы же ей не скажете об этом! Это было бы неловко, раз я ее лучший друг.

– Та-ак. Значит, она все-таки любит меня? Значит, она, несмотря на свое легкомыслие и э-э-э... ограниченность, способна на искреннее и серьезное чувство, в наш век, когда женщины...

– Ах, перестаньте, Вовочка! Ну что вы наивничаете! Каждая барышня старается так или иначе выйти замуж. Точно вы не понимаете. Каточка – мой лучший друг, и я, конечно, не позволю сказать о ней ничего дурного, но само собой разумеется...

– Позвольте, Лидочка? А как же вы намекали как будто даже на самоубийство с ее стороны. Или мне это показалось?

– Ну конечно, показалось.

Оба помолчали. Лидочка глубоко вздохнула и сказала с печалью и состраданием:

– Ну что же, милый друг, ведь придется вам жениться, ничего не поделаешь.

Коренев тоже вздохнул.

– Я ничего не имею против брака вообще. Боюсь только, что мы с Каточкой мало подходим друг к другу. Ну да свет не клином сошелся.

Он ушел печальный, но спокойный.

Лидочка долго улыбалась себе в зеркало, тоже печальная, но спокойная:

– Милая Каточка! Я сделала все, что могла! Но ведь этот Коренев такой упорный идиот!

## Вендетта

История, которую я хочу рассказать вам, произошла не очень давно, и люди, о которых идет в ней речь, вероятно, живы и здоровы. Может быть, вы даже встречаете их где-нибудь в обществе, или на улице, или в театре и спокойно проходите мимо, не чувствуя в них героев почти кровавой драмы. От драмы этой веет таким глубоким средневековым ужасом, что мне хочется поведать вам ее именно сегодня, в рождественский вечер, когда, согласно старому, укоренившемуся обычаю, полагается немножко поугатать читателя... Итак... За Анетой Лиросовой ухаживал Мишель Серебров. Анета была взволнована и счастлива, и только одно несколько раздражало ее: почему нельзя рассказать об этом мужу. Она очень любила своего мужа и привыкла делиться с ним и горем, и радостью, а тут вдруг – стоп! самого радостного и интересного как раз и нельзя рассказать. Вместо того чтобы гордиться успехом жены, он еще, чего доброго, надуется.

А погордиться было чем.

Мишель Серебров был очень интересен. Настоящий Дон Жуан – двух мнений быть не могло.

Женщины о нем говорили:

– Нет, Мишель, конечно, некрасив, но с ним можно поговорить на серьезные темы. Он совсем не пустой и не поверхностный человек, каким кажется на первый взгляд.

Мужчины говорили о Мишеле:

– Какая у этого Сереброва наглая морда, верно, уж не раз бит.

И прибавляли:

– Парикмахер!

Все это, выраженное бедным человеческим языком, в переводе на более высокий, литературный стиль означало не что иное, как:

– Дон Жуан.

Разговаривал Мишель Серебров мало. Он больше выразительно смотрел, раздувал ноздри и изредка шептал с упреком:

– Нехорошо... нехорошо мучить. Я сегодня всю ночь не спал!

Говорил он эту фразу даже тем женщинам, с которыми только что познакомился, так что признание о бессонной ночи звучало несколько некстати, ну да не менять же из-за таких пустяков своих привычек и обычаев.

Как настоящий Дон Жуан, Мишель никогда не называл по имени женщин, за которыми ухаживал. Это очень опасная штука: при широко поставленном деле легко можно ошибиться и спутать. А женщина, если она, например, Манечка, почему-то ужасно обижается, когда любимый человек называет ее Сонечкой или Танечкой. Точно уж это такая большая разница!

Так вот, во избежание неприятностей Мишель Серебров называл близких своему сердцу женщин или «детка», или «котка», или какими-нибудь лошадиными именами: «игрунка», «ласкунка», «смехуночек».

Выходило приятно и ни к чему не обязывало.

И вот Мишель Серебров стал ухаживать за Анетой Лиросовой. Ухаживал целых четыре месяца. И каждое воскресенье присылал ей большую круглую коробку с ее любимыми конфетами – пьяные вишни в шоколаде.

Бывал он у Лиросовых каждый четверг на журфиксе и каждое воскресенье на обеде. Иногда провожал Анету из театра и говорил о звездах громко и пламенно, чтобы не было слышно, как икает извозчик.

Но вот наступило воскресенье, когда Мишель не смог прийти – у него оказался спешный доклад. И наступил четверг, когда Мишель не смог прийти. У него и в четверг оказался спеш-

ный доклад. Очевидно, государственные дела были в критическом положении, если понадобилась такая экстренная помощь со стороны Мишеля.

Что ж делать. Мужчины всегда готовы все бросить ради каких-то дел. Им только свистни. Это даже в истории известно.

И Анета со злобой вспоминала братьев Гракхов, у которых еще была мать, и потом Демосфена, набившего себе рот камнями, чтобы лучше говорить, и Диогена, залезшего в бочку неизвестно для чего, тоже, должно быть, для государственной пользы, а какая-нибудь несчастная ждала его и мучилась. Исторические примеры поддерживали мужество духа у тоскующей Анеты Лиросовой, но когда Мишель и во второе воскресенье и сам не пришел, и даже конфет не прислал, она встревожилась, расстроилась и сделала сцену мужу, зачем тот своей вилкой полез в блюдо с тетеркой.

Вечером решила развлечься и поехала к актрисе Удаль-Раздолиной. Раздолина была немножко знакома с Мишелем, может быть, потому Анету и потянуло именно к ней.

У Раздолиной были гости – актрисы, офицеры. Мишеля не было. Но было нечто: на столе между кексом и вазочкой с малиновым вареньем стояла большая круглая коробка с пьяными вишнями в шоколаде.

Анета рассеянно поздоровалась и, не отводя глаз от коробки, долго молча сидела и чувствовала, как в мозгу ее происходит странная работа, быстрая и мелкая, – словно какие-то крючки подцепляют какие-то петли и в результате получается определенный и точный рисунок.

Анета улыбнулась самой любезной и беспечной улыбкой, и голос ее не дрогнул, когда она спросила у хозяйки:

– Ах, кто это вам преподнес такие чудесные конфеты?

Хозяйка лукаво скосила глаза и весело ответила:

– Ах, это один очаровательный Дон Жуан.

Анета больше ничего не спросила. Она встала с места и, подойдя к хозяйке, строго сказала:

– Пойдем, мне надо поговорить.

Изумленная Удаль-Раздолина повела ее в свою спальню.

Там Анета, повернув к лампе растерянное лицо Раздолиной и положив обе руки ей на плечи, сказала твердо:

– Отвечайте мне всю правду. Конфеты от Мишеля?

– Нет, то есть да, – честно ответила Раздолина.

– Все говорите: «коткой» называл?

– Нет... то есть да! – лепетала Раздолина.

– Руку вот тут, около пульса, усами щекотал? В декольте дул? Говорил, что мучить нехорошо?

– Ах да... то есть да...

– Показывал Большую Медведицу? Ноздри раздувал? Говорил, что ночь не спал?

– Да... да... – трепетала Раздолина. – Да... дул... в Медведицу... ни одной ночи не спал...

Анета отпустила ее плечи, повернулась и вышла. Вышла, села за чайный стол, придвинула к себе коробку с пьяными вишнями и стала есть.

– Не правда ли, вкусные конфеты? – делано-светским тоном спрашивала взволнованная хозяйка.

– Недурны! – мрачно отвечала Анета и продолжала есть.

Хозяйка явно начинала беспокоиться.

– Марья Николаевна! – обратилась она к своей соседке, комической старухе из их труппы. – Может быть, и вы попробуете этих конфет?

– Мерси, я...

– Они очень вкусные, – громко сказала хозяйка, чтоб обратить на себя внимание Анеты.

– Недурны! – мрачно буркнула та и продолжала есть.

Она ела быстро, сосредоточенно и звонко выплевывала косточки на тарелку. Лицо ее пылало. Глаза горели зловещим огнем. Все притихли и, молча переглядываясь, смотрели на нее, затаив дыхание.

На лице хозяйки быстро сменялись отчаяние и злоба.

– Иван Николаевич! – дрожащим голосом обратилась она к одному из офицеров. – Передайте, пожалуйста, нам с Марьей Николаевной эту коробку.

Офицер любезно осклабился, подошел к Анете, встал за ее стулом и позвякал шпорами. Больше, как благовоспитанный молодой человек, он ничего сделать не мог. И застыл в почтительной позе.

А Анета ела и ела.

Она съела все до последней вишни. Потом встала, спокойная, гордая, взяла салфетку, вытерла губы, как убийца вытирает кровь с кинжала – с улыбкой холодной и жуткой. Сверкнула торжествующим взглядом и медленно вышла из комнаты.

Вендетта!



## «Джинджер»

Разговелись в тесном семейном кругу.

Из чужих были только Юзефа Антоновна с мужем, дочкой и гувернанткой, но их у Сердобовых за чужих и не считали, виделись с ними каждый день, а сама Сердобова с Юзефой Антоновной даже немножко обожали друг друга по старой институтской дружбе.

Дети их тоже дружили между собой, и мирно сплетничали гувернантки, тоже дружно поругивая господ.

Юзефа Антоновна, красавица и умница, часто помогала подруге советами, как вести дом, как обращаться с мужем и как воспитывать детей.

Она сама, религиозная женщина и примерная семьянинка, будучи гораздо ограниченнее в средствах в сравнении с Сердобовыми, сумела поставить свой дом на широкую ногу и жила, ни в чем себе не отказывая.

Сердобова удивлялась, завидовала и старалась подражать.

– Мишель, – говорила она мужу, – отчего это Юзя все умеет, а я не могу?

– Надоела ты мне со своей Юзей, – отмахивался муж.

Дела их шли хорошо: целый день гудел собственный сердобовский завод, а по вечерам, когда машины смолкали, загорались на небе огненные письма, выведенные электрическими лампочками: «М. Сердобов, цемент».

Итак, друзья разговелись в самой милой семейной обстановке.

Но и для мирной обстановки гостеприимный хозяин не пожалел своего погреба. Выпили и вина, и ликеров количество изрядное.

У Юзефы Антоновны, несмотря на всю строгость ее поведения, даже щечки разгорелись.

Сердобов, тоже развеселившийся, все поддразнивал ее, что она ревнует своего мужа. Это у них давно было заведено и считалось очень остроумным.

– Вы чего, Станислав Петрович, на мою жену смотрите? Берегитесь, Юзефа Антоновна вам сейчас сцену ревности устроит!

– Юзефа Антоновна! Смотрите, смотрите, как ваш муж улыбается. Ой, здесь что-то подозрительное: наверное, о какой-нибудь хорошенькой дамочке вспоминает.

Словом, веселились вовсю.

Когда гости ушли, хозяйева, свесившись с лестницы, долго смотрели им вслед и кричали приветствия.

Потом снова сели за стол, допивать кофе.

– А не попробовать ли мне «Джинджеру»? – задумался хозяин. – Помню, я еще в студенческие годы как-то выпил рюмку и совсем ошалел. Ну, теперь, верно, уж так не подействует.

Он пересмотрел несколько маленьких рюмочек – все были грязные. Подвинул большую, налил в нее густой янтарной жидкости, посмотрел на свет, понюхал и вдруг сразу опрокинул себе в рот. Глотнул, выпучил глаза и заморгал.

– Что ты делаешь, – испугалась жена. – Разве так пьют ликер?

– Н-не... не сооб-разил, – пролепетал Сердобов. – Бук-квально...

Больше он ничего не мог сказать, встал, шатнулся, снова сел.

– Худо мне. Бук-квально.

– Господи! Зачем же ты пил?! Ведь ты же знаешь, что не можешь вынести «Джинджеру».

– Бук-квально...

– Это прямо отравка для тебя!

Он вдруг поднял голову и завопил:

– Отравка? Ага! Отравка! Знаю я, кто меня отравил. Это Юзья меня отравила.

– Ты с ума сошел, – вознегодовала Сердобова. – Что ты говоришь!

- Она, она отравила! Юзья! Пшеклентая Юзья!
- Как ты смеешь так ее называть! Я тебе не позволю, ты пьян!
- Не позволишь? Нет, баста! Довольно я от вас терпел. Будет с меня!
- Юзефа Антоновна уважаемая всеми женщина...
- Ха-ха! Уважаемая всеми! Юзья, ха-ха! Нет, довольно вы меня дурачили!
- Мы? Тебя?..
- Я тебе покажу, какая твоя Юзья уважаемая! Я тебе покажу!..

Он вдруг вскочил и, качаясь на ходу, как матрос в бурю, побежал в кабинет. Испуганная жена следовала за ним.

– Вот твоя Юзья!.. Вот твоя уважаемая!..

Он открывал ключом, висевшим на часовой цепочке, свой несгораемый шкаф.

– Вот, на! Ха-ха! Вот, на! Вот еще! Вот еще!

Он швырял жене прямо в лицо какие-то конверты.

– Что это? Господи!

Это все были портреты Юзефы Антоновны.

Портреты были разные, но все заманчивые и пикантные, каких Сердобова у своей подруги никогда не видала.

Вот Юзя в открытом платье, очень открытом, и надпись: «Мишелю, вместе с оригиналом».

Вот в какой-то коротенькой юбочке, почти раздетая, и подпись: «Ты помнишь?»

Вот в жокейском костюме и жокейской шапочке, лукавая, с хлыстиком в руках. И подпись: «Мишка! Гоп-ля!»

– Я ничего не понимаю! – застонала Сердобова. – Юзефа такая религиозная женщина, у нее свое кресло в костеле... Почему же она в таком легкомысленном виде? Это, верно, просто шутка! Да, да, это шутка! Иначе быть не может!

– Шутка?

Сердобов, красный, раздутый, налитый бешенством, сунул ей под нос какое-то письмо.

– Шутка! Это тоже шутка? Ха-ха! Читай, подлая, читай! Будешь со мной спорить?

Рука Сердобовой дрожала, в глазах рябило. Она плохо понимала смысл этих строк с их многоточиями и восклицательными знаками. Но отдельные слова она все-таки поняла.

«Поцелуйи твои, Мишель!..» «Жажду ласк...» «Приходи... Стас уезжает... блаженство...»

Слова все такие простые, что, вместе они или отдельно взятые, все равно понятны.

– Быть не может! – тихо охала Сердобова. – Юзефа такая почтенная женщина. Это безумие. Это просто минутное увлечение, она потеряла голову. Ну, просто ошалела баба, а теперь, наверное, сама мучается.

– Это она-то мучается? Это у нее-то минутное увлечение? Ха-ха! Вот тебе минутное увлечение! Вот тебе...

Он стал выгребать из ящика целые кипы писем разных размеров, разных цветов и фасонов. И все они летели прямо на грудь, на колени испуганной Сердобовой, падали на ковер, рассыпались веером по дивану.

– Вот тебе минутное. Десять лет твоя Юзья живет со мной. Десять лет! Вот тебе, получай!

– Господи, Господи! Юзя, Юзя! Несчастливая Юзя!

– Несчастливая? – ревел красный Сердобов. – Молчи, дурища! Развратница твоя Юзья!

Вот ее чулки... вот ее корсет... вот ее лента... вот...

Кружева, тряпки, кусочки, обрывки, ленты летели на ковер.

– Так она любила тебя! Любила тебя! Десять лет любила... – тихо заплакала Сердобова.

– Любила?

Сердобов подбежал к жене и со всей силы потряс ее за плечи.

– Я тебе покажу, подлая, как она любила! Я тебе покажу! Это что? Это что?

Теперь он не швырял. Теперь он медленно переворачивал бумажки с гербовыми марками.

– Счет от портнихи... счет от портнихи, итого восемьсот рублей... Брошка полторы тысячи... шелковых чулок на сорок два рубля... счет от портнихи... счет за шляпу девяносто... счет от портнихи... духи и перчатки... портьера в гостиной...

Тут Сердобова вскочила. Шурша, соскользнули с нее письма и легли кольцом вокруг ног.

– Портьера в гостиной?! – воскликнула она, вся бледная, со сверкающими глазами. – Портьера в гостиной! Так вот откуда у нее портьера в гостиной!

– Ага! Ага! – торжествовал муж. – Теперь чувствуешь! Ага! Вот тебе твоя Юзья!

Душа у Сердобовой была мужественная и многое могла вынести. Но портьер она не преодолела. Может быть, оттого, что они были гипюровые и ручной работы... Портьер она не преодолела.

\* \* \*

– Этот завод прежде принадлежал Сердобову, – рассказывают приезжим местные жители. – Но там была какая-то семейная драма, и он бросил все и уехал.

– Сетафре!<sup>5</sup> – вздыхают приезжие. – А почему у вас в городе масло?

---

<sup>5</sup> Какой ужас! (искаж. фр.). – Ред.

## Потаповна

*Вере Томилиной*

Вот уже пятая неделя, как на кухне происходит что-то особенное.

Кастрюли не чистятся, сор лежит в углу за печкой и не выметается. В дверь с черной лестницы часто просовываются бабьи носы, иногда по два и даже по три носа разом, и таинственно шепчутся.

Не тревожимые мокрой шваброй тараканы собираются густой толпой около крана и озабоченно шевелят усами.

Старая лиловая собака, выдавшая лучшие дни и сосланный на кухню за старость и уродство, печально свесила правое ухо и так и не поднимает его, потому что всем своим собачьим существом предчувствует великие события.

А события, действительно, надвигаются.

Властительница всех этих кастрюль, и сора, и тараканов кухарка Потаповна собралась замуж.

И об этом ясно свидетельствуют не сходящая со стола наливка и нарезанный ломтиками соленый огурец.

А вечером приходит «он» – жених.

Он седой, с плутоватыми глазками и таким красным носом, какой бывает только у человека, хватившего с мороза горячего чаю, и то лишь в первые пять минут.

Потаповна к приходу жениха не наряжается, потому что свадьба – дело серьезное, и кокетство тут не к месту.

Она человек опытный – знает, что когда нужно. Ей самой давно шестой десяток. Даже видеть стала плохо, так что приходится носить очки, которые она не без шика подвязывает розовой тесемкой от старого барынина корсета.

Голова у нее круглая, как кочан, а сзади, в самом центре затылка, торчит седая косичка, будто сухой арбузный хвостик.

Потаповна – девица, но не без воспоминаний. Одно воспоминание живет у сестры в деревне, другое – учится у модистки. А над плитой висит старая солдатская фуражка, лет пять назад украшавшая безбровую солдатскую харю. А еще недавно, глядя на эту фуражку, вдохновлялась Потаповна и рубила котлеты с настоящим темпераментом.

Теперь не то. Теперь – брак. Венец. Любовь прочная, законная и признанная. До гроба.

\* \* \*

Вечер.

Посуда убрана кое-как, с грехом пополам; на столе – самовар, наливка, огурец.

Лиловая собака тихо шевелит опущенным ухом. Предчувствует события.

Влюбленные воркуют.

– Я барыне говорю, – рассказывает Потаповна, – подарите вы мне, барыня, к свадьбе-то грипелевое платье. Ладно, говорит, подарю. Барыня-то добрая.

– Платье? – шевелит жених мохнатыми бровями. – Платье – что! Много ли с платья корысти. Лучше бы деньгами дала. А платье тоже, говорят, может из моды выйти.

– Ну, это тоже какое попадет. Вот была у меня муровая юбка, – восемь лет носила, и хоть бы что. Ни моль ее не брала, ни что. Чем больше ношу, тем больше блестит. Маньке отдала донашивать, а она так из моды и не вышла.

– Капитал лучше. Ежели у хороших господ жить, много можно отложить на книжку. А? Так я говорю, Авдотья Потаповна, али нет?

– Скопить, конечно, можно. А только что в этом хорошего? Копишь, копишь, выйдешь замуж, помрешь – ан все мужу в лапы. Тоже и об этом подумать надо.

– Это вы-то помрете? Авдотья Потаповна, грех вам говорить! Да вы всякого быка переживете, не то что мужа. Вон личность-то у вас какая красная – рожа, тоись.

– От печки красная. Жаришь, жаришь, ну и воспалишься. А в нутре у меня никакой нет плотности.

Жених смотрит на нее несколько минут пристально.

– А болезни какие у вас были?

– Болезни? Каких у меня только не бывало, спроси. Под ложечкой режь. Как поем капусты, так и...

– Ну, это что за болезнь! Этак каждый может налопаться...

– Зубы болели, все выболели. Глаза плохи стали, ноги гудут. Нашел тоже здоровую.

Жених улыбнулся светлой улыбкой, но улыбка быстро погасла, и он вздохнул.

– Ну, с этим тоже не помирают. Битая посуда два века живет. Вот у меня, можно сказать, здоровье подорвано. Двадцать лет на сукционе служу. Служба тяжелая...

– Нашел тоже сравнить! У меня здоровье-то женское. Разве может у вас быть такая слабость, как у меня, у девицы. У меня одних ребят пять штук было – вот и считай! Дети здорово вредят.

– Эка важность – дети! У меня у самого в прошлом году ребенок был. Помер только скоро. От прачки, от Марьи.

– Ребенок? – выпучила глаза Потаповна.

Лиловый пес тоже встрепенулся и вскинул ухо.

– Нешто в вашем возрасте это полагается?

Щеки у Потаповны вдруг отвисли и задрожали.

– Туда же, стариком себя называет! В женихи лезет! Коли у вас в прошлом году дети были, так вы и через десять лет не помрете. Разве я столько протяну? Какая мне от вас польза? Лысому бесу, прости Господи, от вас польза будет, ему и завещание делайте.

Она вдруг схватила наливку и сунула в шкаф.

Жених, несколько сконфуженный, чесал бороду крючковатым пальцем.

– А мне как будто и собираться пора, не то дворник калитку запрет.

Потаповна яростно терла стол мочалкой, как бы давая понять, что с поэзией любви на сегодняшний день покончено и суровый разум вступил в свои права.

– А который же час? Может, взглянете, а?

Потаповна на минутку приостановилась и сказала задумчиво:

– Все-таки же вам седьмой десяток, как ни верти.

И пошла в комнаты взглянуть на часы.

Оставшись один, жених пощупал ватное одеяло на постели, потыкал кулаком в подушки.

Вернулась Потаповна.

– Длинная-то стрелка на восьми.

– А короткая?

– Короткую-то еще не поспела посмотреть. Вот пойду ужо самовар убирать, так и посмотрю. Не все зараз.

Жених не поспорил.

– Ну ладно. Счастливо оставаться. Завтра опять зайдем.

В дверях он обернулся и спросил, глядя в сторону:

– А постеля у вас своя? Подушки-то перовые али пуховые?

Потаповна заперла за ним дверь на крюк, села и пригорюнилась:

– Не помрет он, старый черт, ни за что не помрет! Переживет он меня, окаянный, заберет мою всю худобишку.

Посмотрела на печального лилового пса, на притихших тараканов, тихо, но сосредоточенно шевеливших длинными усами, и почувствовала, как тоскливо засосало у нее под ложечкой.

– Быдто от капусты.

Она горько покачала головой:

– Ни за что он не помрет! Вот тебе и радость! Вот тебе и свадьба!

## Легенда и жизнь

### I. Легенда

Колдунья Годеруна была прекрасна.

Когда она выходила из своего лесного шалаша, смолкали затихшие птицы и странно загорались меж ветвей звериные очи.

Годеруна была прекрасна.

Однажды ночью шла она по берегу черного озера, скликала своих лебедей и вдруг увидела сидящего под деревом юношу. Одежды его были богаты и шиты золотом, драгоценный венчик украшал его голову, но грудь юноши не подымалась дыханием. Бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

И полюбила Годеруна мертвого.

Опрыскала его наговорной водой, натерла заклятыми травами и три ночи читала над ним заклинания.

На четвертую ночь встал мертвый, поклонился колдунье Годеруне и сказал:

– Прости меня, прекрасная, и благодарю тебя.

И взяла его Годеруна за руку, и сказала:

– Живи у меня, мертвый царевич, и будь со мной, потому что я полюбила тебя.

И пошел за ней царевич, и был всегда с нею, но не подымалась грудь его дыханием, бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Никогда не смотрел он на Годеруну, а когда обращалась она к нему с ласкою, отвечал всегда только: «прости меня» и «благодарю тебя».

И говорила ему Годеруна с тоскою и мукою:

– Разве не оживила я тебя, мертвый царевич?

– Благодарю тебя, – отвечал царевич.

– Так отчего же не смотришь ты на меня?

– Прости меня, – отвечал царевич.

– Разве не прекрасна я? Когда пляшу я на лунной заре, волки лесные вьются вокруг меня, приплясывая, и медведи рычат от радости, и цветы ночные раскрывают свои венчики от любви ко мне. Ты один не смотришь на меня.

И пошла Годеруна к лесной Кикиморе, рассказала ей все про мертвого царевича и про любовную печаль свою.

Подумала Кикимора и закричала:

– Умер твой царевич оттого, что надыхался у черного озера лебединой тоской. Если хочешь, чтобы он полюбил тебя, возьми золотой кувшинчик и плачь над ним три ночи. В первую ночь оплачь молодость свою, а во вторую – красоту, а в третью ночь оплачь свою жизнь; собери слезы в золотой кувшинчик и отнеси своему мертвому.

Проплакала Годеруна три ночи, собрала слезы в золотой кувшинчик и пошла к царевичу.

Сидел царевич тихо под деревом, не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли далекие звезды.

Подала ему Годеруна золотой кувшинчик:

– Вот тебе, мертвый царевич, все, что у меня есть: красота, молодость и жизнь. Возьми все, потому что я люблю тебя.

И, отдав ему кувшинчик, умерла Годеруна, но, умирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо, и сверкнули глаза не звездным огнем. И еще услышала Годеруна, как сказал он:

– Я люблю тебя!

\* \* \*

На жертвенной крови вырастает любовь.

## II. Жизнь

Марья Ивановна была очень недурна собой. Когда она танцевала у Лимониных падеспань с поручиком Чубуковым, все в восторге аплодировали и даже игроки бросили свои карты и выползли из кабинета хозяина, чтобы полюбоваться на приятное зрелище.

Однажды ночью встретила она за ужином у Лягуновых странного молодого человека. Он сидел тихо, одетый во фрак от Тедески, грудь его не подымалась дыханием, лицо было бледно, и в глазах его, широко открытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры.

– Кто это?

– Это Куликов, Иван Иванович.

Она пригласила его к себе, и поила чаем с птифурами, и кормила ужином с омарами, и играла на рояле новый тустеп, припевая так звонко и радостно, что даже из соседней квартиры присылали просить, нельзя ли потише.

Куликов молчал и говорил только «пардон» и «мерси».

Тогда пошла Марья Ивановна к приятельнице своей, старой кикиморе Антонине Павловне, и рассказала ей все об Иване Ивановиче и о любовной печали своей.

– Что делать мне? И пою, и играю, и ужин заказываю, а он сидит как сыч, и, кроме «пардон» да «мерси», ничего из него не выжмешь.

Подумала кикимора и закричала:

– Знаю я твоего Куликова. Это он в клубе доверительские деньги продул, оттого и сидит как сыч. Все знаю. Он уж к Софье Павловне занимать подъезжал, и мне тоже намеки закидывал. Ну да с меня, знаешь, не много вытянешь. А если ты действительно такая дура, так поправь ему делишки – он живо отмякнет.

Позвала Марья Ивановна Куликова.

Сидел Куликов на диване, и не подымалась дыханием грудь его, бледно было лицо, и в глазах его, широко раскрытых, отражаясь, играли экономические лампочки электрической люстры.

Сидел как сыч.

И сказала ему Марья Ивановна:

– Сегодня утром прогнала я своего управляющего, и некому теперь управлять моим домом на Коломенской. Как бы я рада была, если бы вы взяли это на себя. Делать, собственно говоря, ничего не нужно – всем заведует старший дворник. Вы бы только раза два в год проехали бы по Коломенской, чтобы посмотреть, стоит ли еще дом на своем месте или уже провалился. А жалованья получали бы три тысячи.

– Пять? – переспросил Куликов, и лампы в глазах его странно мигнули.

– Пять! – покраснев, ответила Марья Ивановна и замерла.

Но, замирая, видела, как грудь его поднялась дыханием, и вспыхнуло лицо его, и сверкнули глаза не экономическим светом.

И еще услышала Марья Ивановна, как сказал он:

– Я совсем и забыл сказать вам... Маруся, я люблю тебя!..



\* \* \*

На жертвенной крови вырастает любовь.

## Жена

«Надо работать, надо спешить...» – думал Алексей Иваныч, с тупым любопытством разглядывая свою рваную войлочную туфлю, из которой сбоку вылезала красная суконка.

«Почему они внутрь вшили красную суконку? Для красоты, что ли?.. О чем я думал? Ах, да: надо работать, надо спешить...»

В дверь быстро, коротко стукнули:

– Алексей! Завтракать!

Значит, все утро уже прошло... И ничего не сделано. Ни-че-го!

Он вздохнул и вышел в столовую. Сел за стол. Не глядя, видел короткие пухлые руки, подвигавшие к нему нож, вилку, хлеб.

– Работал?

Вот оно, самое неприятное.

– Как тебе сказать... Очень уж плохо спал сегодня.

– Не надо было вечером кофе пить. Ведь знаешь, что не надо, а пьешь.

Она поставила перед ним тарелку с куском жареного мяса, твердо, упруго блестящего, как кусок футбольного мяча.

– Бифштекс.

Алексей Иваныч уставился на бифштекс так же тупо, как только что смотрел на войлочную туфлю.

– Чего же ты? – спросила жена.

– Гм... Бифштекс. А не найдется ли у тебя чего-нибудь другого? Вроде печенки, что ли.

– Печенки в рот не берешь. Ешь бифштекс.

– Гм... Пожалуй, это верно. Только, видишь ли, я, говоря про печенку, подразумевал что-нибудь вроде макарон или спаржи...

– Ешь бифштекс, – искусственно спокойно отвечала жена. – Ты любишь бифштексы.

Он покосился на нее. Увидел пухлые, вялые щеки, упорно сжатый рот и опущенные глаза. Сердится.

Он вздохнул.

– Да? Люблю? Ну ладно. Если люблю, буду есть. Только отчего он такой голый и черный... как негр?

И сейчас же испуганно прибавил:

– Впрочем, он отличный, отличный.

Пилил упругое мясо тупым железным ножом, смотрел на противный розовый сок, сочившийся из надреза, и, преодолевая тошноту, вяло думал:

«Надо работать. Как странно, как тяжело спит душа...»

– Советую тебе после завтрака сразу сесть к роялю и сочинять, – сказала Маня. – Не забудь, что в три часа придет француз из газеты, а в четыре ученик.

Алексей Иваныч молчал.

Жена заговорила снова, и голос ее задрожал:

– Что... есть надежда, что ты к четвергу закончишь ноктюрн?

Алексей Иваныч покраснел:

– Ну разумеется. Времени бездна. Главное, ты не волнуйся... И отчего ты ничего не ешь?

– Не хочется. Я с удовольствием выпью кофе.

Она встала и подошла к буфету, повернувшись к мужу спиной. Потрогала на буфете чашки и снова села. Ясно было, что просто спрятала на минутку свое лицо. Что это значит? А ведь, пожалуй, у них просто денег нет...

«Я насильно ем бифштекс, от которого меня тошнит, а она сидит голодная, – подумал он. – А если заговорю, начнет раздражаться. Да и нет сил заговорить...»

– Не забудь побриться, – говорила жена. – И переоденься, нельзя же так. А сейчас иди и сочини. Помни, что нотный издатель велел к четвергу, иначе ноты к концерту не успевают и тебе же будет хуже. В четверг, как пойдешь к нему, заодно можешь там сняться рядом в фотографии. Ты не сердись на меня. Надо же, чтобы кто-нибудь обо всем этом подумал.

Он поднял на нее глаза. Какая она усталая. Губы совсем голубые... Надо сказать ей что-нибудь ласковое:

– Манюся! Какая у тебя славная кофточка! Очень тебе идет.

Она посмотрела на него даже с каким-то ужасом:

– Эта кофточка. Да я ее ношу второй год. Бумазейная рвань. Что, ты ее сейчас только заметил, что ли?

– Нет... нет... я только хотел в том смысле, что ты вообще умеешь одеваться. Ну, я иду заниматься.

В салончике было холодновато, и черный лак пианино блестел официально, жестоко и требовательно. Исчирканные листы нотной бумаги оползнями свисли с крышки.

Алексей Иванович запер плотнее дверь, шумно двинул табуретом, взял несколько совершенно к делу не относящихся аккордов и затих.

Вот здесь, в этих пачках, его ноктюрн, который он должен закончить. Да. Закончить. Но сегодня он не сможет дотронуться до него. Не может проиграть, услышать, войти в этот мир, который он, как Бог, создал из ничего. Там пение звезд, и взлеты серебряных крыльев, и холодное небо, льющее из золотой чаши лунное вино, мертвое и страстное.

Человек в этот мир входит трепетно, весь отрешенный, белый-белый, идет медленно, не помня, не зная, ощупью... И вот есть момент, когда звук, созвучие, созвучное не только звукам, составляющим его, но и тому неизъяснимому мелодийному колебанию, которое «ноет», поет в самой неосознанной глубине, возьмет и поведет и уведет... Господи.

– Я тебе не помешала?

Жена приоткрыла дверь.

– Я только хотела сказать, что все ноты с полу я положила сюда, наверх. Может быть, ты их как раз и ищешь...

Ушла.

Сердце заколотилось с перебоями...

Да. Нужно работать.

Если бы здесь был диванчик, можно было бы прилечь на минутку... Хотя она может войти... Бедная Маня!

\* \* \*

Маня убрала посуду, вымыла в кухне пол. Посмотрела в ужасе на свои руки.

– Ручки, ручки, гордость моя...

И тут же строго одернула себя:

– Все равно. Ничего не жаль. За все слава Богу, лишь бы он, Алеша...

Теперь, значит, нужно привести себя в порядок. Придет француз из газеты. Нужно, чтобы беседа появилась до концерта в Лондоне, чтобы легче было получить аванс. Да. Аванс. Купить фракную рубашку, лакированные башмаки... Что бы он делал без меня? Совсем несмышлениш.

Вспомнила, как он похвалил ее грязную кофту, засмеялась, и тихое умиленное тепло обволокло душу.

– Маленький ты мой, глупый ты мой! Грубо я с тобой сегодня говорила... Да что поделаешь. Измучилась я. От бедности все это, маленький мой. И пусть измучилась: пусть облик человеческий потеряла, лишь бы тебе помочь хоть как-нибудь.

Захотелось взглянуть на него.

Он сидел у пианино, низко опустив голову, закрыв глаза.

– Алеша! Испугала? Чего ты так все горбишься? Ты и на эстраде всегда согнешься, как карлик. Пластрон этот самый крахмальный колесом выпрет и коленкор наружу тянет. Сидишь, как горбун. Смотри – Рахманинов как красиво сидит, а он длинный, ему труднее...

Алексей Иванович молча смотрел на нее непонимающими тусклыми глазами.

– Чего ты? Устал? А знаешь: по-моему, этот твой ноктюрн будет прямо замечательный. Я бы только на твоём месте играла его гораздо громче. Публика любит, когда громко играют. Могущественно. И еще ужасно любит публика колокола. Громко на басах и колокола. Все всегда потом в антракте хвалят. И еще хорошо, если очень тоненькое пиано... Понимаешь – они все считают, что это очень трудно и что именно это надо хвалить. Уж ты мне верь. Я в антрактах все разговоры подслушиваю. Что тебе стоит – пусти им колокола.

Алексей Иванович все так же бессмысленно молчал.

В передней затрещал звонок.

– Боже мой! – вскочила Маня. – Француз пришел! Беги скорее в спальню... Башмаки... Пиджак...

Вошел приятный молодой француз. С восторгом и благоговением окинул взором два рваных кресла и пианино. Остановил взор на портрете Чайковского и, понизив голос, спросил:

– Достоевски?

Маня торжественно предложила сесть. Села сама, заложив юбку складкой на масляном пятне и прикрыв шарфиком дыру на блузке.

– Муж сейчас выйдет.

– О! О! Маэстро, наверное, работает, – застонал француз.

Но маэстро сейчас же выскочил.

«Так и не переоделся», – вздохнула Маня.

Опустила глаза и замерла: на одной ноге у маэстро был желтый башмак, на другой лопнувший лакированный.

Алексей Иванович сел и от смущения очень непринужденно заболтал лакированной ногой.

– Мосье много работает? – деловито нахмутив бровь, спрашивал француз.

Алексей Иванович добродушно усмехнулся и стал чесать за ухом, готовясь к откровенному признанию.

Но Маня не дала ему времени.

– Очень, очень много, – отвечала она. – У нас сейчас масса работы... Заказы из Вены, из Нью-Йорка.

Алексей Иванович смотрел на нее в ужасе. Француз безмятежно записывал в книжечку.

– Масса работы, – делая вид, что не замечает взгляда мужа, продолжала Маня. – Да, да... и задумана большая опера... К ней приступят летом, на юге... Тема? Современная. Только это пока секрет. Переговоры ведутся с Америкой...

– Маня! Что же это за брехня? – робко по-русски прошептал Алексей Иванович. – Нельзя же так...

– Убедительно прошу не мешать. Все так делают...

– Чьим учеником считает себя маэстро? – спрашивал француз.

– Ничьим! – гордо отрезала Маня. – Он самобытный. Он говорит: у меня учатся, а мне учиться не у кого и нечему.

Алексей Иванович набрал воздуха, втянул губы и со стоном выдул:

- Уф-ф-ф!
- Любимый автор мосье?
- Э-э-э... Дебюсси! – отчаянно неслась Маня. – Дебюсси. Молчи и не перебивай. Для французов нужно, чтобы ты любил французскую музыку. Молчи.
- А из русских авторов?
- Мусоргский. Молчи. Французы больше всего уважают Мусоргского.

\* \* \*

Сразу после француза пришел ученик. Алексей Иванович уныло смотрел на художкего мальчишку, унылого, уши лопухом, и думал решительно и горько:

«Я подлец. Если бы я был честным человеком, я сегодня же пошел бы к его маменьке и сказал бы: маменька, ваш сын безнадежно бездарен, поэтому считайте, что я три раза в неделю залезаю в ваш карман и краду у вас по тридцать франков. Три раза... Раз, два, три, раз, два, три...»

- Что это вы играете? – очнулся он. – Что за брехня! На сколько делится?
- На четыре четверти, – уныло протянул ученик.
- Так зачем же вы считаете на три?
- Это вы считаете, – робко ответил тот.
- Я? Форменное идиотство... Кстати, вы разве любите музыку?
- Мама любит.
- Может быть, лучше бы она сама и играла...

\* \* \*

Упастый мальчик ушел. Хорошо бы прилечь... Но Мане будет обидно. Ей всегда кажется, что он валяется в те часы, когда мог бы «творить». А никогда не поймет, что именно в те часы, когда творить не может...

- Маня, кажется, у меня этот урок сорвется. Мальчишка бездарен.
- Да тебе-то что? Хочет учиться, так и пусть.
- Нет, я так не могу. Это мне тяжело.

Она опустила голову, и он видел, как задрожало ее лицо.

- Маня! – крикнул он. – Только не плачь! Голубчик! Я на все согласен, только не плачь.

Тогда она, видя, что все равно слез уже не спрячешь, громко охнув, повалилась грудью на стол и зарыдала.

– Тяжело! Ему тяжело!.. Мне очень легко! Я молчу... я все отдала... Разве я женщина? Разве я человек? Отойди от меня! Не смей до меня дотрагиваться... Не за себя мучаюсь – за теб-бя-а! Ведь брошу тебя – на чердаке сдохнешь! Уй-ди-и!

– Милая... Милая!.. – мучился он. Топтался на месте, не знал, что делать. – Милая... Ты успокойся. Ну, хорошо, я уйду, если тебе мое присутствие... и немножко пройдусь...

Она оттолкнула его обеими руками, но когда он был уже на лестнице, она выбежала и, свесившись через перила, прокричала:

- Надень кашне! Ненавижу тебя... Не попади под трамвай.

\* \* \*

Был вечер ясный и радостный, не конец дня, а начало чудесной ночи.  
Алексей Иванович закинул голову и остановился.

– Умрешь на чердаке... – прошептал он, подумал и улыбнулся. – Собственно говоря, так ли уж это плохо?

Он повернул лицо прямо к закатному пламенно-золотому сумраку, вдруг запевшему, загудевшему для тайного тайных души его таким несказанно блаженным созвучием, что слезы восторга выступили на глазах его.

– Господи, Господи! Бедная ты моя, милая... Так ли уж это плохо?

## Флирт

В каютке было душно нестерпимо, пахло раскаленным утюгом и горячей клеенкой. Штору поднять было нельзя, потому что окно выходило на палубу, и так, в потемках, злясь и спеша, Платонов брился и переодевался.

«Вот двинется пароход – будет прохладнее, – утешал он себя. – В поезде тоже было не слаще».

Прифрантившись в светлый костюмчик, белые башмаки, тщательно расчесав темные, редящие на темени волосы, вышел он на палубу. Здесь дышать было легче, но палуба вся горела от солнца, и ни малейшего движения воздуха не чувствовалось, несмотря на то что пароход уже чуть-чуть подрагивал и тихо отплывали, медленно поворачиваясь, сады и колокольни гористого берега.

«Пошли».

Время для Волги было неблагоприятное. Конец июля. Река уже мелела, пароходы двигались медленно, промеряя глубину.

Пассажиров в первом классе было на редкость мало: огромный толстый купчина в картузе с женой, старой и тихой, священник, две недовольные пожилые дамы.

Платонов прошелся несколько раз по пароходу.

«Скучновато!»

Хотя ввиду некоторых обстоятельств это было очень удобно. Больше всего боялся он встретить знакомых.

«Но все-таки чего же это так пусто?»

И вдруг из помещения пароходного салона раздался залихватский шансонетный мотивчик. Пел хрипловатый баритон под аккомпанемент дребезжащего рояля.

Платонов улыбнулся и повернул на эти приятные звуки.

В пароходном салончике было пусто... Только за пианино, украшенным букетом цветного ковыля, сидел кряжистый молодой человек в голубой ситцевой косоворотке. Сидел он на табуретке боком, спустив левое колено к полу, словно ямщик на облучке, и, лихо расставив локти, тоже как-то по-ямщицки (будто правил тройкой), лупил по клавишам.

Надо быть немножко недотро-гай,  
Немножко стро-гай,  
И он готов!

Он встряхивал могучей гривой плохо расчесанных светлых волос.

И на уступки  
Пойдут голубки,  
И траля-ля-ля-ля,  
И траля-ля.

Заметил Платонова и вскочил.

– Разрешите представиться, Окулов, холерный студент-медик.

– Ах да, – сообразил Платонов. – То-то пассажиров так мало. Холера.

– Да какая там, к черту, холера. Перепьются – ну, их и тошнит. Я вот мотался который рейс и еще не констатировал ни одного случая.

Рожа у студента Окулова была здоровая, красная, темнее волос, и выражение было на ней такое, какое бывает у человека, приготовившегося дать кому-нибудь по физиономии: рот

распяленный, ноздри раздутые, глаза выпученные. Словно природа зафиксировала этот предпоследний момент да так и пустила студента вдоль по всей жизни.

– Да, голубчик мой, – говорил студент. – Тощица патентованная. Ни одной дамочки. А сядет, так такой мордovorот, что морская болезнь на тихой воде делается. А вы что ж, для удовольствия едете? Не стоило того. Река – дрянь. Жарища, вонища. На пристанях ругня. Капитан – черт его знает что; должно быть, запойный, потому что за столом водки не пьет. Жена у него девчонка – четыре месяца женаты. Я было пробовал с ней, как с путной. Дурища, аж лоб трещит. Учить меня вздумала. «От ликующих, праздно болтающих» и «приноси пользу народу». Подумаешь – мать-командирша! Изволите ли видеть, из Вятки – с запросами и душевными изгибами. Плюнул и бросил. А вот, знаете этот мотивчик? Прехорошенький:

От цветов моих  
Дивный аромат...

Во всех кафешантанах поют.  
Он быстро повернулся, сел «на облучок», потрянул космами и поехал:

Увы, мамаша.  
Ах, что такое...

«Ну и медик!» – подумал Платонов и пошел бродить по палубе.

\* \* \*

К обеду выползли пассажиры. Тот самый купец-мастодонт с супругой, нудные старухи, священник, еще какие-то двое торговых людей и личность с длинными прядистыми волосами, в грязном белье, в медном пенсне, с газетами в оттопыренных карманах.

Обедали на палубе, каждый за своим столиком. Пришел и капитан, серый, одутловатый, мрачный, в поношенном холщовом кителе. С ним девочка лет четырнадцати, гладенькая, с подкрученной косой, в ситцевом платье.

Платонов уже кончал свою традиционную ботвинью, когда к столу его подошел медик и крикнул лакею:

– Мой прибор сюда!

– Пожалуйста, пожалуйста! – пригласил его Платонов. – Очень рад.

Медик сел. Спросил водку, селедку.

– Па-аршивая река! – начал он разговор. – «Волга, Волга, весной многоводною ты не так затопляешь поля...» Не так. Русский интеллигент всегда чему-нибудь учит. Волга, вишь, не так затопляет. Он лучше знает, как надо затоплять.

– Позвольте, – вставил Платонов, – вы как будто что-то путаете. А впрочем, я толком не помню.

– Да я и сам не помню, – добродушно согласился студент. – А видели нашу дуру-то?

– Какую дуру?

– Да мать-командиршу. Вот с капитаном сидит. Нарочно сюда не смотрит. Возмущена моей «кафешантанной натурой».

– Как? – удивился Платонов. – Эта девочка? Да ведь ей не больше пятнадцати лет.

– Нет, немножко больше. Семнадцать, что ли. А он-то хорош? Я ей сказал: «Ведь это все равно что за барсука выйти замуж. Как вас поп венчать согласился?» Ха-ха! Барсука с козьявкой! Так что вы думаете? Обиделась! Вот-то дура!



\* \* \*

Вечер был тихий, розовый. Зажглись цветные фонарики на буйках, и волшебным, сонно скользил между ними пароход. Пассажиры рано разбрелись по каютам, только на нижней палубе еще возились тесно нагруженные пыльщики-плотники да скулил комариную песню татарин.

На носу шевелилась ветерком белая легкая шалька, притянула Платонова.

Маленькая фигурка капитановой жены прильнула к борту и не двигалась.

– Мечтаете? – спросил Платонов. Она вздрогнула, обернулась испуганно.

– Ох! Я думала, опять этот...

– Вы думали, этот медик? А? Действительно, пошловатый тип.

Тогда она повернула к нему свое нежное худенькое личико с огромными глазами, цвет которых различить уже было трудно.

Платонов говорил тоном серьезным, внушающим доверие. Осудил медика за шансонетки очень строго. Даже выразил удивление, что могут его занимать такие пошлости, когда судьба дала ему полную возможность служить святому делу помощи страдающему человечеству.

Маленькая капитанша повернулась к нему вся целиком, как цветок к солнцу, и даже ротик открыла.

Выплыла луна, совсем молодая, еще не светила ярко, а висела в небе просто как украшение. Чуть плескала река. Темнели леса нагорного берега. Тихо.

Платонову не хотелось уходить в душную каюту, и, чтобы удержать около себя это милое, чуть белеющее ночное личико, он все говорил, говорил на самые возвышенные темы, иногда даже сам себя стыдясь:

«Ну и здоровая же брехня!»

Уже розовела заря, когда, сонный и душевно умиленный, пошел он спать.

\* \* \*

На другой день было это самое роковое двадцать третье июля, когда должна была сесть на пароход – всего на несколько часов, на одну ночь – Вера Петровна.

По поводу этого свидания, надуманного еще весной, он получил уже с дюжину писем и телеграмм. Нужно было согласовать его деловую поездку в Саратов с ее неделовой, к знакомым в имение. Представлялось чудное поэтическое свидание, о котором никто никогда не узнает. Муж Веры Петровны занят был постройкой винокуренного завода и проводить ее не мог. Все шло как по маслу.

Предстоящее свидание не волновало Платонова. Он не видел Веры Петровны уже месяца три, а для флирта это срок долгий. Выветривается. Но все же встреча представлялась приятной, как развлечение, как перерыв между сложными петербургскими делами и неприятными деловыми свиданиями, ожидавшими его в Саратове.

Чтобы сократить время, он сразу после завтрака лег спать и проспал часов до пяти. Тщательно причесался, обтерся одеколоном, прибрал на всякий случай свою каюту и вышел на палубу справиться, скоро ли та самая пристань. Вспомнил капитаншу, поискал глазами, не нашел. Ну, да она теперь и ни к чему.

У маленькой пристани стояла коляска и суетились какие-то господа и дама в белом платье.

Платонов решил, что на всякий случай благоразумнее будет спрятаться. Может быть, сам супруг провожает.

Он зашел за трубу и вышел, когда пристань уже скрылась из глаз.

– Аркадий Николаевич!

– Дорогая!

Вера Петровна, красная, с прилипшими ко лбу волосами – «восемнадцать верст по этой жаре!» – тяжело дыша от волнения, сжимала его руку.

– Безумно... безумно... – повторял он, не зная, что сказать.

И вдруг за спиной радостный вопль неприятно знакомого голоса:

– Тетечка! Вот так сюрприз! Куда вы это? – вопил холерный студент.

Он оттер плечом Платонова и, напирая на растерянную даму, чмокнул ее в щеку.

– Это... разрешите познакомиться... – с выражением безнадежного отчаяния залепетала та, – это племянник мужа. Вася Окулов.

– Да мы уже отлично знакомы, – добродушно веселился студент. – А вы знаете, тетечка, вы в деревне здорово разжирили! Ей-богу! Бока какие! Прямо постамент!

– Ах, оставьте! – чуть не плача, лепетала Вера Петровна.

– А я и не знал, что вы знакомы! – продолжал веселиться студент. – А может быть, вы нарочно и встретились? Рандеву? Ха-ха-ха! Идемте, тетечка, я покажу вам вашу каюту. До свиданья, мосье Платонов. Обедать будем вместе?

Он весь вечер так и не отставал ни на шаг от несчастной Веры Петровны. Только за обедом пришла ему блестящая мысль пойти самому в буфет распечь за теплую водку. Этих нескольких минут едва хватило, чтобы выразить отчаяние, и любовь, и надежду, что, может быть, ночью негодяй угомонится.

– Когда все заснут, приходите на палубу, к трубе, я буду ждать, – шепнул Платонов.

– Только, ради бога, осторожней! Он может насплетничать мужу.

Вечер вышел очень нудный. Вера Петровна нервничала. Платонов злился, и оба все время в разговоре старались дать понять студенту, что встретились совершенно случайно и очень этому обстоятельству удивляются.

Студент веселился, пел идиотские куплеты и чувствовал себя душой общества.

– Ну, а теперь спать, спать, спать! – распорядился он. – Завтра вам рано вставать, ни к чему утомляться. Я за вас перед дядечкой отвечаю.

Вера Петровна многозначительно пожала руку Платонова и ушла в сопровождении племянничка.

Легкая тень скользнула около перил. Тихий голосок окликнул. Платонов быстро отвернулся и зашагал в свою каюту.

«Теперь еще эта привяжется», – подумал он про маленькую капитаншу.

Выждав полчаса, он тихонько вышел на палубу и направился к трубе.

– Вы?

– Я!

Она уже ждала его, похорошевшая в туманном сумраке, закутанная в длинную темную вуаль.

– Вера Петровна! Дорогая! Какой ужас!

– Это ужасно! Это ужасно! – зашептала она. – Столько труда было уговорить мужа. Он не хотел, чтобы я ехала одна к Северяковым, ревнует к Мишке. Хотел ехать в июне, я притворилась больной... Вообще, так все было трудно, такая пытка...

– Слушайте, Вера, дорогая! Пойдем ко мне! У меня, право, безопаснее. Мы посидим тихо-тихо, не зажигая огня. Я только поцелую милые глазки, только послушаю ваш голос. Ведь я его столько месяцев слышал только во сне. Ваш голос! Разве можно его забыть! Вера! Скажи мне что-нибудь!

– Э-те-те-те! – вдруг запел над ними хриловатый басок.

Вера Петровна быстро отскочила в сторону.

– Это что такое? – продолжал студент, потому что это, конечно, был он... – Туман, сырость, разве можно ночью на реке расслаивать! Ай-ай-ай! Ай да тетечка! Вот я все дядечке напишу. Спать, спать, спать! Нечего, нечего! Аркадий Николаевич, гоните ее спать. Застудит живот и схватит холеру.

– Да я иду, да я же иду, – дрожащим голосом бормотала Вера Петровна.

– Так рисковать! – не унимался студент. – Сырость, туман!

– Да вам-то какое дело? – обозлился Платонов.

– Как какое? Мне же перед дядечкой за нее отвечать. Да и поздно. Спать, спать, спать. Я вас, тетечка, провожу и буду всю ночь у двери дежурить, а то вы еще снова выскочите и непременно живот застудите.

\* \* \*

Утром, после очень холодного прощанья («Она еще на меня же и дуется», – недоумевал Платонов), Вера Петровна сошла с парохода.

Вечером легкая фигурка в светлом платьице сама подошла к Платонову.

– Вы печальны? – спросила она.

– Нет. Почему вы так думаете?

– А как же... ваша Вера Петровна уехала, – зазвенел ее голос неожиданно дерзко, точно вызовом.

Платонов засмеялся:

– Да ведь это же тетка вашего приятеля, холерного студента. Она даже похожа на него – разве вы не заметили?

И вдруг она засмеялась, так доверчиво, по-детски, что ему самому стало просто и весело. И сразу смех этот точно сдружил их. И пошли душевные разговоры. И тут узнал Платонов, что капитан – отличный человек и обещал отпустить ее осенью в Москву учиться.

– Нет, не надо в Москву! – перебил ее Платонов. – Надо в Петербург.

– Отчего?

– Как отчего? Оттого, что я там!!

И она взяла его руку своими худенькими ручками и смеялась от счастья.

Вообще ночь была чудесная. И уже на рассвете вылезла из-за трубы грузная фигура и, зевая, позвала:

– Марусенок, полуночица! Спать пора.

Это был капитан.

И еще одну ночь провели они на палубе. Луна, подросшая, показала Платонову огромные глаза Марусеньки, вдохновенные и ясные.

– Не забудьте номер моего телефона, – говорил он этим изумительным глазам. – Вам даже не надо называть своего имени. Я по голосу узнаю вас.

– Вот как? Не может быть! – восхищенно шептала она. – Неужели узнаете?

– Вот увидите! Разве можно забыть его, голосок ваш нежный! Просто скажите: это – я.

И какая чудесная начнется после этого телефона жизнь! Театры, конечно, самые серьезные, ученые лекции, выставки. Искусство имеет огромное значение... И красота. Например, ее красота...

И она слушала! Как слушала! И когда что-нибудь очень ее поражало, она так мило, так особенно говорила: «Вот как!»

Рано утром он вылез в Саратове. На пристани уже ждали его скучные деловые люди, корчили неестественно приветливые лица. Платонов думал, что одно из этих приветливых лиц придется уличить в растрате, другое – выгнать за безделье, и уже озабоченный и заранее злой стал спускаться по трапу. Случайно обернувшись, увидел у перил «ее». Она жмурилась сон-

ным личиком и крепко сжимала губы, словно боялась расплакаться, но глаза ее сияли, такие огромные и счастливые, что он невольно им улыбнулся.

\* \* \*

В Саратове захлестнули днем дела, вечером – пьяный угар. В кафешантане Очкина, гремяшем на всю Волгу купецкими кутежами, пришлось, как полагается, провести вечерок с деловыми людьми. Пели хоры – цыганский, венгерский, русский. Именитый волжский купец куражился над лакеями. Наливая сорок восемь бокалов, плеснул лакей нечаянно на скатерть.

– Наливать не умеешь, мерзавец!

Рванул купец скатерть, задребезжали осколки, залили шампанским ковер и кресла.

– Наливай сначала!

Запах вина, сигарный дым, галдеж.

– Рытка! Рытка! – хрипели венгерки сонными голосами.

На рассвете из соседнего кабинета раздался дикий, какой-то уж совсем бараний рев.

– Что такое?

– Господин Аполлосов веселятся. Это они всегда под конец собирают всех официантов и заставляют их хором петь.

Рассказывают: этот Аполлосов, скромный сельский учитель, купил в рассрочку у Генриха Блокка выигрышный билет и выиграл семьдесят пять тысяч. И как только денежки получил, так и засел у Очкина. Теперь уж капитал к концу подходит. Хочет все до последней копейки здесь оставить. Такая у него мечта. А потом попросится опять на прежнее место, будет сельским учителем век доживать и вспоминать о роскошной жизни, как ему на рассвете официанты хором пели.

– Ну, где, кроме России и души русского человека, найдете вы такое «счастье»?

\* \* \*

Прошла осень. Настала зима.

Зима у Платонова началась сложная, с разными неприятными историями в деловых отношениях. Работать приходилось много, и работа была нервная, беспокойная и ответственная.

И вот, как-то ожидая важного визита, сидел он у себя в кабинете. Зазвонил телефон.

– Кто говорит?

– Это я! – радостно отвечал женский голос – Я! Я!

– Кто «я»? – раздраженно спросил Платонов. – Простите, я очень занят.

– Да я! Это – я! – снова ответил голос и прибавил, точно удивленно: – Разве вы не узнаете?

Это – я.

– Ах, сударыня, – с досадой сказал Платонов. – Уверяю вас, что у меня сейчас абсолютно нет времени заниматься загадками. Я очень занят. Будьте любезны говорить прямо.

– Значит, вы не узнали моего голоса? – с отчаянием ответила собеседница.

– А! – догадался Платонов. – Ну как же, конечно, узнал. Разве я могу не узнать ваш милый голосок, Вера Петровна!

Молчание. И потом тихо и грустно-грустно:

– Вера Петровна? Вот как... Если так, то ничего... Мне ничего не нужно...

И вдруг он вспомнил:

Да ведь это маленькая! Маленькая на Волге! Господи, что же это я наделал! Так обидеть маленькую!

– Я узнал! Я узнал! – кричал он в трубку, сам удивляясь и радости своей, и отчаянию. – Ради бога! Ради бога! Ведь я же узнал!

Но уже никто не отзывался.

## Весна весны

Ехать по железной дороге всегда было интересно, а тут еще это странное приключение... Началось так: тетя Женя задремала. Лиза достала книгу – стихотворения Алексея Толстого – и стала читать. Стихи Ал. Толстого она давно знала наизусть, но держать в руках эту книгу было само по себе очень приятно: зеленая с золотом, а на внутренней стороне переплета наклеена бумажка ведомства Императрицы Марии, свидетельствующая, что «книга сия дана ученице второго класса Елизавете Ермаковой в награду за хорошее поведение и отличные успехи».

Лиза раскрывала наугад страницы и читала.

А против нее сидел чернородый господин, «старый, наверное лет сорока», и внимательно ее рассматривал.

Заметив это, Лиза смутилась, заправила волосы за уши. А господин стал смотреть на ноги. Тут уж наверное все обстояло благополучно – башмаки были новые. Чего же он смотрит?

Господин опять перевел глаза на ее лицо, чуть-чуть улыбнулся, покосился на тетю Женю, снова улыбнулся и шепнул:

– Какая прелесть!

Тут Лиза поняла: он влюбился.

И сейчас же инстинкт, заложенный в каждом женском естестве, даже в таком, пятнадцатилетнем, потребовал: «Влюблен – доканать его окончательно!»

И, скромно опустив глаза, Лиза развернула книгу так, чтобы он мог видеть похвальный лист. Пусть поймет, с кем имеет дело.

Подняла глаза: а он даже и не смотрит. Не понимает, очевидно, что это за лист наклеен.

Повернула книгу совсем боком. Будто рассматривает корешок. Теперь уж и дурак сообразит, что недаром здесь казенная печать и всякие подписи...

Какой странный! Никакого внимания. Смотрит на шею, на ноги. Или близорукий?

Подвинула книгу на коленях к нему поближе.

– А-а!

Тетка проснулась, вытянулась вверх, как змея, и водит глазами с Лизы на бородача и обратно. И щеки у нее трясутся.

– Лиза! Пересядь на мое место.

Голос у тетки деревянный, отрывистый.

Лиза подняла брови удивленно и обиженно. Пересела.

Бородач – как он умеет владеть собой! – спокойно развернул газету и стал читать.

Лиза закрыла глаза и стала думать.

Ей было жаль бородача. Она его не любила, но могла бы выйти за него замуж, чтобы покоить его старость. Она знала, что для него это была роковая встреча, что он никогда ее не забудет и ни с одной женщиной с этих пор не найдет не только счастья, но даже забвения. И всегда, как тень, он будет следовать за ней... Вот она выходит из церкви в подвенечном платье под руку с мужем... И вдруг над толпой... черная борода. Поднимается молча, но с упреком... И так всю жизнь. А когда она умрет, все будут страшно поражены, увидя у ее гроба черную бороду, бледную, как смерть, с огромным венком из лилий... нет, из роз... из красных роз... Нет, из белых роз... из белых тюльпанов...

Лиза долго выбирала венок на свой гроб. И когда наконец прочно остановилась на белых розах, поезд тоже остановился.

Она открыла глаза. Кто-то вылезал из их купе. Чемодан застрял в дверце. Вылезающий обернулся... Бородач! Бородач уходил... Спокойно и просто, даже газету прихватил. И глаз на Лизу не поднял...

И это после всего того, что было!

Какие странные бывают на свете люди...

В пять часов вышли на вокзал обедать.

Празднично было в огромной зале буфета. Цветы в вазах, то есть собственно говоря не цветы, а крашенный ковыль, посреди стола группами бутылки с вином, блеск никелированных блюд, иступленная беготня лакеев. И все плавает, как в соусе, в упоительном вокзальном воздухе, беспокойном и радостном, с его весенним быстрым сквознячком и запахом чего-то пареного, перченого, чего дома не бывает. И чудесно это чувство беспричинной тревоги: знаешь, что твой поезд отойдет только через двадцать пять минут, а каждый выкрик, стук, звонок, быстро прошагавшая фигура волнует, торопит, ускоряет пульс.

– Время есть, торопиться нечего.

Нечего-то нечего, а все-таки...

И когда швейцар ударит два раза в колокол, густо и однотонно прокричит, жутко скандируя слова: «Второй звонок. Поезд на Жмеринку – Волочиск», и сидящий насупротив господин, швырнув салфетку, вскочит с места и, схватив чемодан, ринется к двери, вы уже невольно отодвинете тарелку и станете искать глазами своего носильщика.

Рядом с Лизой сидел молоденький студент в нарядном белом кителе и гвардейской фуражке. Надувал верхнюю губу, щупая, не растут ли усы, и смотрел на Лизу глазами, блестящими, пустыми и веселыми, как у молодой собаки.

Он был очень благовоспитанный, очень светский. Взял со стола солонку с дырочками и, прежде чем посолить свой суп, спросил у Лизы:

– Вы разрешите?

И рука с солонкой так и оставалась поднятой, ожидая ответа в полной готовности поставить соль назад, если Лиза не разрешит.

Лиза с аппетитом принялась было за свою куриную котлетку, но после этой истории с солонкой почувствовала себя такой прелестной и томной, что уплетать за обе щеки было бы совершенно неприлично. Она со вздохом отодвинула тарелку.

– Что же ты? – спросила тетка. – Вечные теории. А через полчаса есть запросишь.

Как все это грубо! «Есть запросишь!»

После «этого» на него и взглянуть было страшно. Вдруг – смеется?

Потом гуляли с теткой под окнами вагона.

Вечер был удивительный. Пахло дымом, углем. Железный стук, железный звон. Розовое небо, на котором странно горели два огонька семафора – зеленый и красный, – точно для кого-то уже началась ночь. А удивительнее всего была маленькая березка, вылезшая на самую дорогу, в деловой, технический и официальный поворот между двумя путями рельс. Глупенькая, лохматая – вылезла и не понимает, что ее раздавить могут.

И во всем этом – и в розовом небе, и в звонках, и в березке – была для Лизы особая тревога – ну как это объяснить? – тревога, которую мы выразили бы в образе молоденького студента с солонкой в руке. Но это мы так выразили бы, а Лиза этого не знала. Она просто только удивлялась – отчего так необычен этот весенний вечер, и чувствовала себя прекрасной.

– Зачем ты делаешь такое неестественное лицо? – недоумевала тетка. – Стянула рот сердечком, как просвирнина дочка...

Третий звонок.

Проходя в свое купе, Лиза увидела студента в коридоре. Он ехал в том же вагоне.

\* \* \*

Ночь.

Тетка спит. Но, еще укладываясь, сказала Лизе:

– Пстой в коридоре, если тебе душно.

И она стоит в коридоре и смотрит в окно на мутные лунные полянки, на серые кусты, сжавшиеся в ночном тумане в плотные упругие купы. Смотрит.

– Я сразу понял, кто вы, какая вы, – говорит студент, надувая верхнюю губу и потрагивая усики, которых нет. – Вы тип пантеры с зелеными глазами. Вы не умеете любить, но любите мучить. Скажите, почему вам так нравится чужое страдание?

Лиза молчала, делая «бледное лицо», то есть втягивая щеки, закатывала глаза.

– Скажите, – продолжал студент, – вас никогда не тревожат тени прошлого?

– Д-да, – решила Лиза. – Одна тень тревожит.

– Расскажите! Расскажите!

– Один человек... совсем недавно... и он преследует меня всю жизнь... с черной бородой, безумно богатый. Я не виновата, что не люблю его!

– А в том, что вы сознательно увлекали его, вы тоже не виноваты?

Лиза вспомнила, как подсовывала ему книгу с похвальным листом. Потом ей показалось, что она сверкала на каких-то балах, а он стоял у стены и с упреком следил за ней... Вспомнился и веноч из белых роз, который он, кряхтя и спотыкаясь, тащил ей на гроб...

– Без-зумная!.. – шептал студент. – Пантера! Я люблю вас!

Лиза закрыла глаза. Она не знала, что рот у нее от волнения дрожит, как у маленькой девочки, которая собирается заплакать.

– Я знаю, нам суждена разлука. Но я разыщу вас, где бы вы ни были. Мы будем вместе! Слушайте, я сочинил для вас стихи. Вы гуляли по платформе с вашей дам де компани, а я смотрел на вас и сочинял.

Он вынул записную книжку, вырвал листок и протянул ей.

– Вот возьмите. Это посвящается вам. Посмотрите, какой у меня хорошенький карандашик. Это мне мама... – и он осекся, – ...одна дама подарила.

Лиза взяла листок и прочла:

Погас последний луч несбыточной мечты,  
Волшебной сказкою прошли весна и лето,  
Песнь дивная осталась недопета,  
А в сердце – ты.

– Почему же «прошли весна и лето»? – робко удивилась Лиза.

Студент обиделся.

– Какая вы странная! Ведь это же поэзия, а не протокол. Как же вы не понимаете? В стихах главное – настроение.

Подошел кондуктор, посмотрел у студента билет, потом спросил, где его место. Оба ушли.

Тетка приоткрыла дверцу и сонным голосом велела Лизе ложиться.

Милые, тревожные, вагонные полусны...

Веки горят. Плывут в мозгу лунные полянки, лунные кусты. Кусты зовутся «я люблю вас», полянки – «а в сердце ты»...

На долгой остановке она проснулась и оттянула край тугой синей занавески.

Яркое желтое солнце прыгало по забрызганным доскам платформы. От газетного киоска бежал без шляпы пузатый господин, придерживая рукой расстегнутый ворот рубашки. А мимо самого Лизиного окна быстро шел студент в белой гвардейской фуражке. Он приостановился и сказал что-то носильщику, несшему желтый чемодан. Сказал, и засмеялся, и блеснул глазами, пустыми и веселыми, как у молодой собаки. Потом скрылся в дверях вокзала.

Носильщик с чемоданом пошел за ним следом.



\* \* \*

Началось лето. Шумное, прозаическое в большой помещицкой семье с братьями-гимназистами, с ехидными взрослыми кузинами, с гувернантками, ссорами, купаньями и ботвиньей.

Лиза чувствовала себя чужой.

Она – пантера с зелеными глазами. Она не хочет ботвиньи, она не ходит купаться и не готовит заданных на лето уроков.

И не думайте, пожалуйста, что это смешно. Уверю вас, что пятидесятилетний профессор ведет себя точно так же, если войдет в поэтически-любовный круг своей жизни.

Так же туманно, почти бессознательно мечтает он, и так же надеется, сам не зная на что, но сладко и трепетно, и так же остра для него горькая боль разочарования.

Ах, все то же и так же!..

«Он поэт, – думает Лиза. – Он разыщет меня, потому что у поэтов в душе вечность».

И ночью встает и босиком идет к окошку смотреть, как бегут на луну облака.

– «Угас последний луч несбыточной мечты», – шепчет она целый день.

И вдруг:

– Что ты все это повторяешь? – спрашивает ехидно кузина. – Это романс, который еще тетя Катя пела.

– Что-о?

– Ну да. Еще кончается «а в сердце – ты».

– Не ммо-может ббыть... Это стихи одного поэта... Не мо...

– Ну так что же? Написан романс лет десять тому назад. Чего ты глаза выпучила? И вся зеленая. Ты, между прочим, ужасная рожа!

Лет десять тому назад!..

Лиза закрыла глаза.

О, как остра горькая боль разочарования!

– Чай пи-ить! – закричал из столовой звонкий, пошлый голос. – Землянику принесли! Кто хочет земляники? Скорей! Не то Коля все слопаёт!..

Лиза вздохнула и пошла в столовую.

## О душах больших и малых

### 1. Анет

Все давно знали, что он умирает. Но от жены скрывали серьезность болезни.

– Надо щадить бедную Анет возможно дольше. Она не перенесет его смерти.

Тридцать лет совместной жизни. И он так баловал ее и ее собачек. Одинокая, старая, кому она теперь нужна.

Какая страшная катастрофа! Надо щадить бедную Анет. Надо исподволь подготовить ее.

Но подготовить не успели: давно предвиденная развязка явилась все-таки неожиданной.

Больной скончался во время докторского осмотра, в присутствии жены и родственников.

– Сударыня, – сказал, отходя от постели, доктор, – будьте мужественны. Ваш супруг скончался.

Родственники ахнули.

– Анет! Дайте воды! Где валерьянка? Соли, соли!

Анет подняла брови:

– Значит, умер?

Потом повернулась к сиделке:

– В таком случае, сегодня я вам заплачу только за полдня. Сейчас нет еще 6 часов.

Сиделка застыла с криво разинутым ртом.

Втянув голову в плечи, на цыпочках вышел из комнаты доктор. Смерть! Где твое жало?

### 2. Джой

Джой был простой веселый пес, неважной породы, во всех смыслах среднего калибра.

Жил он в Петербурге и принадлежал докторше.

Дожил до того времени, когда люди стали есть собак и друг друга. Тощий, звонкий, как сухая лучина, корму не получал, а только сторожил на общей кухне докторшин паек, чтобы никто не стащил кусочек, и жил всем на удивление.

– Кошей Бессмертный! С чего он жив-то?

Худые времена стали еще хуже. Докторша была арестована.

Вяло, для очистки совести, похлопотали друзья, навели справки и быстро успокоили друг друга: серьезного не могло ничего быть, так как докторша ни в чем замешана не была. Подержат немножко да и выпустят.

Пес Джой никаких справок навести не мог, но хлопотал и терзался беспредельно. Не ел ничего. Дворник из жалости много раз пытался покормить его – Джой не ел. Не хотел есть. Очень уж мучился.

Каждый день, в определенный час, бегал к воротам больницы и ждал выхода врачей. В определенные дни бегал в амбулаторию, далеко за город, где докторша иногда принимала. Наведывался по очереди ко всем знакомым, знал и помнил все адреса, все соображал и искал, искал.

Докторшу действительно выпустили через три недели. Но пес не дождался, не дотянул.

От тоски и тревоги, от муки всей своей нечеловеческой любви околел он за день до ее выхода.

Говорили, что это очень банальная история, что сплошь и рядом собаки издыхают на могиле хозяина, что удивительного в этом ничего нет, раз это бывает так часто...

### 3. Фанни

Борис Львович изменил своей Фанни после десятилетнего счастливого супружества. Влюбился в молоденькую сестру милосердия с лицом нестеровской Богородицы, ясным и кротким.

Но Фанни была хорошей женой, любила его преданно, верно и нежно, на всю жизнь. И жили они так уютно, с такой заботливой любовью устраивали свою квартиру, выбирали каждую вещь тщательно.

– Ведь это надолго.

У Бориса Львовича сердце было доброе. И мучился он за свою Фанни. Почернел и засох. Никак не мог решиться сказать ей, что уходит от нее. Не смел себе представить эту страшную минуту. Все смотрел на нее и думал:

«Вот ты улыбаешься, вот ты поправила ковер, вот ты спрятала яблоко в буфет на завтра. И ты ничего не знаешь. Ты не знаешь, что для тебя, в сущности, уже нет ни ковра, ни яблоков, ни «завтра», ни улыбок, да, никогда «никаких улыбок». Кончено. А я все это знаю. Я держу нож, которым убью тебя. Держу и плачу, а не убить уже не могу».

Вспомнил о Боге:

«Мне Бога жалко, что он вот так, как я сейчас, видит судьбу человека и скорбит и мучается».

Совсем развинтился Борис Львович. Неврастеником стал, к гадалкам бегал. И все думал о страшной минуте и все представлял себе, как Фанни вскрикнет, как упадет, или, может быть, молча будет смотреть на него. А вдруг она сойдет с ума? Только бы не это, это уж хуже всего.

А «Мадонну» любил и отказаться от нее не мог. Обдумывал, придумывал, извивался душою, узлами завязывался. Как быть?

Не могу же я так сразу ни с того ни с сего ухнуть. Буду ждать случая, психологической возможности. Буду ждать ссоры. Хоть какой-нибудь пустяковой, маленькой.

Маленькую всегда можно раздуть в большую, и тогда создается атмосфера, в которой легко и просто сказать жестокие слова. И принять их для нее будет легче.

И вот желанный миг настал. Они поссорились. И, ссорясь, она сказала, что у него ужасный характер и что жить с ним невозможно. Он понял, что лучшего момента не найти.

– А! Вот и отлично! Я тоже того мнения, что нам пора разойтись.

От ужаса он закрыл глаза (только бы не видеть ее лица!).

– И я должен наконец сказать тебе правду. Я хочу развода. Я люблю другую, и она любит меня, и мы дали друг другу слово. Требую развода.

Он задохнулся, открыл глаза.

Она стояла, как была, красная и сердитая. Мотнула головой и закричала:

– А, так? Ну ладно же. Только знай, что мебель из столовой я беру себе.

И он, ждавший слез, отчаяния, безумия, может быть, даже смерти, услышав эти слова о мебели из столовой, зашатался и потерял сознание. И с отчаянием ее, и со слезами он как-нибудь справился бы. Но этого ужаса он не ждал и перенести его не мог.

\* \* \*

– Ты не женишься на своей «Мадонне»? – спрашивал его посвященный в семейную драму приятель.

– Нет, милый мой. После этого ужаса сердце мое уже в новое счастье не верит. Я потерял вкус к любви. Остался с Фанни – не все ли равно?.. Слишком сильный был шок. Нет, я уже человек конченный. Мне никого не надо. Не верю.

## 4. В трамвае

Облупленный, обшарпанный трамвай, похожий на тяжелую пчелу, нагруженную медом, медленно ползущую по кривой дощечке улья, сипел по расхлябаным рельсам Невского проспекта.

Гроздьями серых жуков, унылых, но цепких, облепили его пассажиры. На площадке, прижавшись к перилам, – бывший барин. Барин, потому что на нем потерянная бобровая шапка, боярская, бобровый плешивый воротник, лицо такое худое, точно тяжелая рука сверху вниз сгладила с него щеки, так что оттянулись вниз нижние веки и углы рта, лицо его тонкое и привычное к тихой думе, к мысли. Высокий, он всех виднее в этой стиснутой, сплюсненной кучке людей.

А рядом баба с раскрытым от худобы ртом, со злобными и испуганными глазами человека, у которого отнимают кошелек, и курносый парень с распяленным ртом, бледный и злобный, как масляничная харя, и исплаканная старушонка – все лицо только красный нос да красные веки, скорбь их раздула, а все остальное съела, больше ничего от старушонки и не осталось в черном головном ее платке с обсмарканными концами.

– О Господи! О Господи!

Давят, душат. Тяжело-о-о!

Тихо ползет трамвай. Тяжелый его обвисший зад перегружен, тянет к земле, не дает хода. Ползет мимо слежалых, грязных сугробов, сора, рвани, падали. И вот у тротуара кучка людей. Стопились вокруг лежащей лошади. Лошадь выпряжена, значит, лежит давно. Бок у нее страшно вздулся. Под мордой клочок сена. Видно, кто-то сунул, чтобы было ей чем свою жизнь помянуть. Или думали, что вот узнает лошадь, что есть еще сено на свете, понатужится и поборет смерть.

Нет, не помогло сено. Лежит тихо, и бок вздутый не подымается. Не дышит лошадь. Кончено. Вот и не хочет есть. Не хочет. Понимаете вы? Не хочет есть...

Подымается рука к бобровой шапке, такая худая, голая, в потрепанном обшлагае... Тихо склонив голову, снимает шапку бывший барин и крестится. Парень с распяленным ртом осклабился – «гы-ы» – и обшарил всех глазами, приглашая смеяться. Но кругом были лица тихие, и глаза с его глазами встретились строгие. Он оторопел, осел и спрятался за исплаканную старуху.

И бывший барин так просто и благоговейно обнажил голову перед страданием и смертью и сотворил крест во имя Отца и Сына и Святого Духа за малую душу замученного зверя.

## Чудо весны

Светлый праздник в санатории доктора Лувье был отмечен жареной курицей и волованами с ветчиной.

После завтрака больные прифрантились и стали ждать гостей.

К вечеру от пережитых волнений и непривычных запрещенных угощений, принесенных потихоньку посетителями, больные разнервничались. Сердито затрещали звонки, выкидывая номера комнат, забегали сиделки с горячей ромашкой и грелками и заворчал успокоительный басок доктора.

– Зачем все они терзают меня своей любовью! – томной курицей кудахта в номере пятом испанка с воображаемой болезнью печени. – Зачем мне эти букеты, эти конфеты? Ведь они же знают, что я умираю. Позовите доктора, пусть он даст мне яду и прекратит мои мучения.

В номере десятом рантьеши мадам Калю запустила стаканом в кроткую и бестолковую свою сиделку Мари. Ее, мадам Калю, никто не навестил, да она и не разрешила ни мужу, ни детям показываться ей на глаза. А злилась она оттого, что вопли испанки ее раздражали.

Она, собственно говоря, не была больна. Она спаслась в санаторию от домашнего хаоса.

– Не надо сердиться! – кротко уговаривала ее Мари. – Надо быть паинькой, надо кушать суп, чтобы скорее поправиться и ехать домой, где бедный маленький муж скучает о своей маленькой женке и детки плачут о своей мамочке.

Мадам Калю вспомнила о своем муже, плешивом подлеце, содержавшем на ее счет актрисенку из «Ревю», вспомнила сына, подделавшего под векселями ее подпись, дочь, сбежавшую к пузатому банкиру, и бросилась с кулаками на кроткую Мари.

Но больше всего досталось в этот вечер русской сиделке, безответной и робкой Лизе. Вверенный ей здоровенный больной, греческий генерал, во-первых, объелся страсбургским паштетом, а во-вторых, поругался с женой. Вручая этот самый паштет, жена сказала ему, что он вислоухий дурак и притворщик и что на те деньги, которые он тратит на лечение, она могла бы поехать в Монте-Карло.

Генерал вопил, что он умирает, и требовал морфия.

Лиза успокаивала его, как могла, но он стучал на нее кулаком.

– Вы старая дева! Безднадежная старая дева, и, конечно, в ваших глазах спокойствие важнее всего. А я полон сил и обречен на гибель!

Почему он обречен на гибель, он и сам не знал. Не знала и Лиза и, отвернувшись, заплакала.

И слезы ее подействовали на него магически. Он сразу развеселился, забыл о морфии и попросил касторки.

У него была особого вида неврастения: при виде какой-нибудь неприятности, приключившейся с другими, меланхолия его мгновенно сменялась отличнейшим настроением. Когда однажды в его присутствии горничная свалилась с лестницы и сломала себе ногу, он весь день весело посвистывал и даже собирался организовать домашний спектакль.

Да. Странные болезни бывают на белом свете...

Ночью Лиза долго не ложилась, вздыхала, разбирала старые открытки с болгарскими видами, исписанные русскими буквами. Потом сняла со стены фотографию лысого бородатого господина и долго вопрошительно на нее смотрела.

\* \* \*

На другое утро, прибрав своих больных, она спустилась вниз.

Толстая кроткая Мари спешно допивала свой кофе.

– Я сейчас иду на станцию, – сказала она. – Нужно получить пакет.

Лиза вышла за ней на крыльцо.

– Я, пожалуй, сбегаю с вами, – сказала она, слегка ежась от свежего, сильного весеннего воздуха.

– Вы простудитесь, – сказала Мари. – Накиньте что-нибудь.

– Нет, так отлично!

Пасха была ранняя.

Деревья в ясном холодном небе купали тонкие свои, чуть розовеющие, наливающиеся соками прутики.

Длинная сухая прошлогодняя трава порошила сквозной щетинкой плотный ядовито-зеленый газон.

Облака кудрявились, как на наивной картинке в детской книжке. И все было такое новое, непрочное, и неизвестно было, останется ли, окрепнет ли в настоящую весну или только мелькнет обещанием и снова уйдет в отходящую зиму.

И это ярко раскрашенное небо, и обещающие жизнь розовеющие цветочки, и то, что она так по-молодому легкомысленно выбежала в одном платье, – все это вдруг ударило Лизу весенним вином прямо в сердце. Желтое лицо ее порозовело, страдальческие морщинки около рта разгладились, и вялые губы улыбнулись бессмысленно-счастливо.

– Я всегда такая! Мне все все равно! – звонко сказала она и удало тряхнула головой.

Мари с удивлением поглядела на нее. Она служила в санатории всего второй месяц и мало встречалась с Лизой.

– Да, вы, русские, совсем особенные, – сказала она. – Оттого все в вас и влюбляются.

Лиза засмеялась задорно и весело.

– Ну, знаете ли, влюбляются действительно, но далеко не во всех.

Было в ее тоне что-то многозначительное. Так как-то вышло, без всякого умысла, потому что она вовсе не на себя намекала.

Весенний воздух пьянил, веселил. Проходя мимо сложенных вдоль дороги бревен, Лиза вскочила на поваленную толстую липу и, балансируя руками, пробежала и прыгнула.

– Какая вы ловкая! – ахнула Мари. – Как молоденькая!

Лиза обернулась. Ее лицо покраснелось, волосы выбились из-под косынки.

Проходивший мимо почтальон закричал:

– Bravo! Bravo!

Лиза бросила ему лукавый взгляд.

– Ах, какая же вы шалунья! – восторженно удивлялась Мари. – Я всегда думала, что вы такая тихонькая, а вы такой чертенок. Наверное, все больные от вас без ума!

– Ну уж и все! – кокетливо улыбалась Лиза. – Далеко не все. Почтальон! Пойдите. Нет ли у вас письма на имя мадемуазель Лиз Корнофф?

Почтальон, поглядывая на нее блестящим глазком и пошевеливая усами, стал рыться в сумке.

– А уж он и рад, что вы с ним болтаете! – шептала Мари, радостно волнуясь.

– Мадемуазель Корнофф. Так? – спросил почтальон и подал Лизе открытку.

Лиза взглянула на розового зайца, несущего в лапках синее яйцо с золотыми буквами «Х. В.». Марка была болгарская, но письма она без очков прочесть не могла. Да это и не было важно. Важно было, что после почти трехмесячного перерыва она получила поздравление, что она не забыта и что все то, что она начинала считать умершим, потерянным навсегда, еще жило, и обещало, и звало.

Она сунула открытку в карман передника и весело засмеялась. А когда подняла глаза, увидела прямо перед собой молодое вишневое деревцо, словно в каком-то буйствующем вос-

торге всего себя излившее в целый гимн белых цветов. Маленькое, хрупкое, и выбрызнуло столько красивой радости прямо к небу, к солнцу, к сердцу.

– От «него»? – спросила Мари, указывая глазами на торчащую из кармана открытку.

Лиза засмеялась и пренебрежительно махнула рукой.

– Старая история! Не хочет понять, что мне моя свобода дороже всего. Мы вместе служили в госпитале. Он – врач. Должен был тоже приехать во Францию, но задержался, и, конечно, в отчаянии.

– А вы? – спросила Мари, сделав заранее сочувствующее лицо.

– Я?

Лиза передернула плечами и засмеялась.

– Я, дорогая моя, люблю свободу.

И, обнажив широкой улыбкой свои длинные желтые зубы, пропела фальшивым голоском:

L'amour est un enfant de Bohême  
Qui n'a jamais, jamais connu de loi...<sup>6</sup>

– Это из «Кармен»!

– Какая вы удивительная! А скажите, этот ваш греческий генерал, наверное, тоже к вам неравнодушен?

Лиза презрительно пожала плечами.

– Неужели вы думаете, что я стану обращать внимание на чувства такого ничтожного человека?

«Удивительная женщина! – думала добродушная Мари. – И некрасива, и немолода, а вот умеет же сводить с ума! Ах, мужчины, мужчины, кто поймет, что вам нужно?»

А Лиза бежала походкой смелой и быстрой, какой никогда у себя не знала, и смеялась, удивляясь, как она до сих пор не видела, что жизнь так легка и чудесна.

Вернулись в санаторию немножко усталые, и горничная сразу крикнула Лизе:

– Бегите скорее к вашему генералу! Он так ругается, что с ним сладу нет.

Лизе очень хотелось сбегать к себе за очками, чтобы узнать наконец, о чем чудесном сообщает ей розовый заяц. Но медлить она не посмела и пошла в комнату номер девятый, затхлую, прокуренную, где злой человек с одутловатым лицом долго ругал ее старой ведьмой, жабой и дармоедкой.

Шторы в комнате были опущены, и небо за ними умерло.

Потом привезли новую больную, потом приехал профессор...

Лиза уже не улыбалась. Она только тихонько дотрагивалась до кармана, где лежала открытка, и тихо, сладостно вздыхала. Все небо, все чудо весны было теперь здесь, в этом маленьком кусочке тонкого картона.

И только вечером, после обеда, быстро взбежав по лесенке в свою комнату и закрыв дверь на задвижку, она блаженно вздохнула:

– Ну вот! Наконец-то!

Надела очки, села в кресло, чтобы можно было потом долго-долго думать...

Милый знакомый почерк... И как много написано! Ого! Не так-то, видно, скоро можно меня забыть!

*«Дорогая Лизавета Петровна, – писал знакомый почерк, – простите за долгое молчание. Причины к тому были важные. Не удивляйтесь новости: я на старости лет женился, да еще на молоденькой. Но когда познакомитесь*

---

<sup>6</sup> Любовь – дитя богемы, не знавшее никогда закона... (фр.) – Ред.

*с моей женой, то поймете меня и не осудите, такая она прелестная. Она вас знает по моим рассказам и уже полюбила.*

*Искренне преданный Вам*

***Н. Облуков.***

*Р. S. Ее зовут Любовь Александровна. Н. О.»*



## Авантюрный роман

### 1

*«Pourquoi occuper le Tribunal  
de ce chetif b... la», – cria une  
voix de la Montagne...*

***La Revolution.  
Louis Madelin<sup>7</sup>***

*Кирджали был родом болгар.*

***А. Пушкин***

Шофер гнал вовсю, как ему и было приказано. Тяжелая машина, жужжа, как гигантский шмель, обгоняла бесконечную вереницу автомобилей, возвращавшихся в Париж.

Пассажиры – два манекена модного дома «Манель» и управляющий этого же дома мосье Брюнето – напряженно молчали.

Молчала манекен Наташа (коммерческий псевдоним Маруси Дукиной), потому что злилась на неудачную поездку, на дождь в Довиле, на скуку и на манекена Вэра (коммерческий псевдоним француженки Люси Боль), которая стала разводить драму с мосье Брюнето. Нашла тоже время!

Вэра поджимала губы и отворачивалась от Брюнето, который, как будто в чем-то виноватый, лебезил перед ней, прикрывая ей ноги пледом, и что-то шептал.

«Ссорятся, – думала Наташа. – Что-то она из него выматывает».

Брюнето приходилось, по-видимому, туго. Подъезжая к Парижу, он снял шляпу, и Наташа с удивлением увидела, что плешивый с начесом лоб его был совсем мокрый.

– Милая Наташа, – сказал он. – Мы, конечно, пообедаем все вместе. Мне только надо на одну минутку заехать... Вэра поедет со мной... надо урегулировать... вообще подсчитать. Милая Наташа, мы с Вэра сейчас выйдем, а шофер отвезет вас на Монмартр, он знает куда. Возьмите бутылку шампанского, если хотите, танцуйте и ждите нас. Я вас очень прошу!

Он обращался к Наташе, но смотрел на Вэра и при словах «очень прошу» нагнулся и прижался лицом к руке Вэра.

Та молча закрыла глаза.

Он схватил телефонную трубку и сказал шоферу:

– Авеню Монтень. Ко мне.

Был уже десятый час, когда Наташа подъезжала к ресторану.

– Возвращайтесь на авеню Монтень, – сказала она шоферу.

В подъезд одновременно с ней входил высокий молодой человек. Он торопливо пропустил ее вперед, с тихим восклицанием благоговейного удивления.

Поднимаясь по лестнице, Наташа видела в огромном зеркале томную изящную даму в серебристо-белом манто, отделанном черной лисицей. На длинной гибкой шее две нитки розового жемчуга. Крупные черные локоны плотно облегли затылок.

– Господи! До чего же я красива! Как странно, что дураку Брюнето нравится пухлая Вэра!

Она села за столик, заказала вино и стала ждать.

---

<sup>7</sup> «Почему надо занимать Трибунал этим ничтожеством», – раздался голос с Горы. «Революция». Л. Мадлен (фр.)

Чувствовала себя спокойной, довольной, богатой. Главное – хорошо, что спокойной. Можно себе представить, какую сейчас истерику закатывает Вэра несчастному Брюнето. А в понедельник, когда патронша Манельша узнает обо всех штучках (уж, конечно, шофер насплетничает!), обрушится на бедную его плешивую голову такая буря, из которой ему живому не выскочить.

Скучно все это, нудно.

Наташа пила маленькими глотками вино, курила, слушала воющий джаз.

– Хорошо быть свободной!

За соседним столиком уселся тот самый молодой человек, которого она встретила при входе. Место, очевидно, далось ему не даром. Он что-то долго хлопотал и спорил с метрдотелем.

Наташа поняла, что это делается из-за нее, и украдкой следила за соседом.

Он был еще очень молод, лет двадцати пяти, не больше. Белокурый, сероглазый, с пухлыми щеками и надутой верхней губой, как это бывает у детей, когда они что-нибудь очень внимательно делают. Он медленно тянул вино из стакана, закидывая голову, и беспокойно глядел на Наташу. Видимо, хотел заговорить и не знал, как за это приняться.

Но вот зажглись в зале красные лампочки, погас верхний свет и начался «номер». Две очень похожие друг на друга полуголые смуглые танцовщицы плясали фантастический танец. Плясали больше на руках, чем на ногах. Бриллиантовые каблукы сверкали в воздухе.

Публика заплодировала.

Вихля боками, танцовщицы пробирались между столиками к выходу.

– Шурка! – вскрикнула Наташа, поймав за тюлевую юбку ту плясунью, что была поменьше.

– Наташка! Ты как сюда попала?

– Тише! Пусть думают, что я богатая англичанка. Жду своих. Ты давно здесь танцуешь?

– Вторую неделю. У меня новая сестра. Еще больше на меня похожа, чем прошлогдняя.

Хорош наш номер? Ну, я бегу. Заходи!

Она убежала. За ней следом, роняя стулья, кинулся молодой человек с надутой губой. Вернулись вместе. Шурка, запыхавшаяся, пролепетала на чудовищном французском языке:

– Мадам, вуаси мосье ве презенте...<sup>8</sup>

Прыснула и убежала.

Молодой человек растерянно раскланивался, приглашая танцевать.

Танцевал он изумительно.

«Уж не профессионал ли?» – подумала Наташа.

И лицо у него вблизи было совсем славное. Детское – веселое и доброе и слегка смущенное.

Говорил по-французски с акцентом.

– Вы не француз? – спросила Наташа.

– Угадайте! – ответил он.

– Вы... – начала она и остановилась.

Кто он, действительно?

– А ваше имя?

Он помолчал, точно придумывал.

– Гастон Люкэ.

– Значит, все-таки француз?

Он опять ответил «угадайте» и прибавил:

– А я сразу узнал, что вы англичанка.

---

<sup>8</sup> Мадам, представляю вам господина... (искаж. фр.)

– Почему?

– По вашему акценту, по вашей внешности и по вашим жемчугам.

Наташа улыбнулась.

– Это наследственные.

– Ну нет! – засмеялся он. – Это только фальшивые так называют. А у вас настоящие.

– Ну конечно, – сухо ответила Наташа.

Как же можно было сомневаться, когда мадам Манель продавала это великолепное изделие по шестьсот франков за нитку, и то только хорошим клиентам к хорошим платьям.

Танцевали много. Мальчик был не красноречив. Больше улыбался, чем говорил. Но улыбался так счастливо, и у самых уголков его рта делались крошечные ямки.

– А вы не уедете в вашу Англию? – спросил он вдруг.

– Нет еще. Не скоро.

Тогда он покраснел, засмеялся и сказал:

– Я вас люблю.

Было уже около двенадцати, и Наташа стала беспокоиться отсутствием Вэра и Брюнето, когда неожиданно явился шофер и подал ей письмо.

Брюнето писал, что приехать не может, рассыпался в извинениях и благодарил заранее «за все, за все». Наташа поняла за что. За то, чтобы она не проболталась патронше. В конце письма сказано было, что она может располагать автомобилем, и был приколот булавкой пяти-сотфранковый билет.

– Я скоро уеду, – сказала Наташа шоферу. – Подождите немножко.

Мальчик опять звал кружиться.

– Последний танец, – сказала она. – Пора домой.

Он даже остановился.

– Вам уже надоело? Вам скучно? Да, я сам знаю. Здесь тесно и душно. Поедем в другое место. Хотите? Я вам покажу... под Парижем. Там чудесно. Еще не поздно... Умоляю вас!

Наташа представила себе свою скучную отельную комнатку. Отчего не остаться еще хотя на часок «богатой англичанкой», раз это так забавно? Еще часок, другой – и конец. Навсегда.

– Ну хорошо, едем, – решила она. – Мой шофер внизу. Вы скажите ему адрес.

Он покраснел от удовольствия, засуетился...

Наташа подошла к своему столику, заплатила за вино и, накинув заученным грациозно-манекенным жестом свое сверкающее манто, спустилась с лестницы.

## 2

*Er war ein Dieb,  
Sie war...*  
**H. Heine<sup>9</sup>**

Ресторан, к которому привез Наташу Гастон Люкэ, оказался совсем близко за Сеной. Он занимал небольшой двухэтажный домик, весь окруженный стеклянной верандой, изукрашенной гирляндами и цветными фонариками, весь пылающий, как бенгальский костер, среди темных тихих домиков пригорода.

Глухие удары оркестрового барабана доносились на площадь, всю уставленную автомобилями.

– Вот здесь будет уютно! – сказал Гастон, когда Наташа отпустила шофера.

Внизу помещался бар. Наверху – ужинали, пили и плясали. Еле нашелся свободный столик.

На маленьком пространстве, уделенном для танцев, давя друг друга ногами и локтями, колыхались голые спины, голые плечи, распаренные лица.

Оркестр вела дама-пианистка, вела мастерски. Смеялась, выкрикивала английские словечки, гримасничала, хлопала по боку пианино. Гладко зализанная остролицая голова с локонами, вылезавшими из-под ушей, делала ее похожей на веселую борзую собаку.

В каше танцующих выделялся негр, выкидывавший какие-то особые коленца, не очень красивые, но всегда неожиданные. Одет негр был грязновато, и Наташу удивило, что он, пристально посмотрев в их сторону, весело мигнул Гастону. Странное знакомство.

– Вы знаете этого негра? – спросила она.

– Нет, – ответил тот как-то испуганно.

– Мне показалось, что он вам поклонился.

Гастон покраснел:

– Это вам показалось. Он просто так ломается. Он, наверное, в вас влюбился.

– А скажите, вы давно знаете Шуру?

– Шуру? Какую?

– Танцовщицу.

– Да... то есть я видал ее очень часто... раза два.

Попробовали танцевать, но в этой давке трудно было двигаться.

Негр, вытягивая шею, следил за ними. Он все время танцевал с молоденькой блондинкой, выламывая ее в разные стороны. И нельзя было разобрать, танцует он или просто дурит.

– Здесь ужасно душно, – сказала Наташа. – Пора домой.

Гастон встревожился:

– Посидим еще. Я вам сейчас принесу чудесный коктейль. Здешняя специальность. Вы только попробуйте. Умоляю вас! Я сейчас принесу...

Он стал пробираться между танцующими.

Наташа вынула зеркальце, пудру, подкрасила губы. Заметила на платье пятнышко от вина и очень встревожилась. Платье принадлежало «мэзону» и было надето на нее, чтобы продемонстрировать его в Довилле во время обеда, не состоявшегося из-за ссоры Вэра с мосье Брюнетто. Из-за этого пятнышка могут быть неприятности, особенно если патронша будет в дурном настроении.

«Ну сейчас не стоит об этом думать. Надо веселиться».

---

<sup>9</sup> Он был Дьявол, она была... Г. Гейне (нем.)

Именно «надо веселиться», подумала она, и тут же почувствовала, что вовсе ей не весело, а только беспокойно, тревожно и пора все это кончить. Богатой англичанкой она себя не чувствовала, поддерживать это недоразумение было бессмысленно и скучно. Подозрительный Гастон оказался глупым и мало забавным.

Она стала искать его глазами и увидела за дверью, у лестницы, ведущей в бар. За его спиной стоял негр и, скосив глаза вбок, что-то говорил, нагнувшись близко, очевидно шептал.

«Значит, он знаком с этим негром?»

Потом оба скрылись, должно быть, спустились в бар.

Толпа танцующих немножко поредела. С улицы доносилось жужжание пускаемых в ход моторов.

Наташа открыла сумочку, чтобы отобрать деньги для такси. Подкладка оказалась мокрой: флакон духов раскупорился, и перчатки, платок и даже деньги оказались в зеленых пятнах от полинявшего зеленого шелка пудреницы.

– Ну вот, попробуйте! – раздался голос Гастона.

Он нес, улыбаясь ямочками рта, два бокала оранжевого питья с торчащими из него соломинками. Один бокал поставил перед Наташей, из другого, выбросив соломинку, хлебнул большим глотком, зажмурил глаза и засмеялся:

– Чудесно!

Наташа попробовала коктейль. Да, вкусно и даже не очень крепко.

Оркестр играл «Ce n'est que votre main, madame»<sup>10</sup>.

И вдруг Гастон, все смеясь и заглядывая ей в лицо, стал подпевать чуть-чуть хриплым, чувственным и странным голосом:

– «Madame, I love you!»<sup>11</sup>

Он наклонился близко, и Наташа чувствовала запах его духов, душный, глухой, совсем незнакомый и очень беспокойный.

«Если любить его, – подумала она, – то от этих духов с ума сойти можно».

– А ведь вы разговаривали с негром? – сказала она, слегка от него отстраняясь.

– «And I will never in my life forget you!»<sup>12</sup> – напевал он, не отвечая.

Не слышал? Или не хотел ответить? Да и не все ли равно.

– Коктейль вкусный. Как он называется?

– Я знаю очень много вкусных вещей, – отвечал Гастон. – Мы как-нибудь поедem с вами на один островок... довольно далеко. Там одна малаечка что-то вам покажет, чего у вас в Англии совсем не знают.

– Странный вы человек, Гастон Люкэ. Скажите мне, чем вы вообще занимаетесь?

– Вами. Я вами занимаюсь.

Он взял ее руки и, смеясь, поднес к губам.

И тут она обратила внимание на его пальцы. Они были грубые, с маленькими плоскими ногтями, хорошо отделанными, но некрасивой формы. Но главное уродство, пугающее, как смутное воспоминание о каком-то страшном рассказе, – был далеко отставленный, несоразмерно длинный большой палец, почти доходящий до первого сустава указательного.

«Рука душителя», – подумала Наташа и все смотрела и не могла отвести глаз, но смотрела исподтишка, словно, если он заметит, что «узнан», тут и произойдет нечто ужасное, чего она не знает и представить себе не смеет.

Он поднял бокал и сунул ей в рот соломинку:

– Ну, еще! Ну, еще! Вкусно! Весело! Чудесно!

---

<sup>10</sup> «Только ваша рука, мадам» (фр.).

<sup>11</sup> «Мадам, я люблю вас!» (фр., англ.)

<sup>12</sup> «И я никогда в жизни не забуду вас» (англ.).

И беспокойный запах его духов вошел в нее как хлороформ, против которого каждый усыпляемый инстинктивно борется и которому сладко и безвольно покоряется, когда почувствует, что нет уже для него в жизни другого дыхания, кроме этого, нежеланного, единственного, блаженного.

– У вас странные руки! – говорила Наташа и почему-то смеялась. – Я очень устала. Я сегодня ездила в Довилль.

Ей хотелось рассказать ему обо всем, чтобы вместе посмеяться над недоразумением с «богатой англичанкой». Но говорить было лень. От крепкого коктейля билось сердце, кружилась голова и начинало тошнить.

Она вспомнила, что не обедала, что в ресторане только выпила шампанского.

– Надо скорее домой.

Она приподнялась, но сейчас же опустилась на стул и чуть не упала. Цветные лампочки закачались, зазвенело в голове... Глаза закрылись, тошнота сдавила горло.

«Гук! Гук! Гук!» – глухо гукало что-то, не то барабан оркестра, не то ее сердце. Должно быть, сердце, потому что больно было в груди...

– Ну что вы! Что вы! – говорил взволнованный голос.

Это Гастон. Милый мальчик!

– Даме немножко дурно. Коктейль был слишком крепкий.

Кому он говорил?

Наташа с трудом открыла глаза.

Негр!

Негр стоит около ее столика. Вблизи он маленький, с серыми, брезгливо распушенными губами. Невзрачный. Лакейчик!

У него в руках Наташин пустой бокал.

– Тогда не надо больше пить. Я унесу коктейль, – говорит он и уносит пустой бокал.

– Попробуйте встать, – говорит Гастон. – Здесь есть комнатка. Вы минутку полежите, и все пройдет.

Он ведет ее. Ноги у нее движутся странно легко, но пола она не чувствует. Глаза не смеет открыть: чуть приоткроет – все зазвенит, закружится, и удержаться на ногах уже нельзя.

– Даме дурно! – слышится голос Гастона.

– Сюда, сюда, – отвечает кто-то.

Ее несут.

Потом она чувствует упругое прохладное прикосновение к затылку и правой щеке, такое знакомое, простое, спокойное.

Мелькнули в глазах ярко-желтые бусы, длинной бахромой падающие откуда-то сверху, и жуткое, смертельно бледное, почти белое женское лицо с квадратно сложенным твердым полотенцем на голове.

Потом острый, тонкий звон.

Потом... ничего.

Сон без снов...

И вот – шорох, шепот.

Что-то чуть-чуть пощекотало шею...

Наташа с трудом открывает глаза и не совсем понимает тот сон, который вдруг видит.

Снится ей розовый туман, снится негр. Он нагнулся над чем-то, что лежит на ночном столике... И еще кто-то спиной к ней, и она не видит его лица. Негр распялил губы брезгливой гримасой, что-то злобное сказал, звякнул чем-то...

– Шют!<sup>13</sup> – шепнул другой и быстро обернулся. И вдруг отчаянно, почти громко воскликнул:

– Она смотрит!

Лицо его Наташа не видела. Розовый туман не был неподвижен. Он плыл, мерцал... Мелькнуло ослепительно бледное женское лицо, с белым квадратным полотенцем на темени... Большая теплая рука легла на глаза Наташи... Но она все равно больше не могла бы смотреть. Шум, звон, плещущие искры заполнили мир, и тяжелые веки опустились прежде, чем закрыла их эта рука. Последнее, что почувствовала она, – был запах странных духов, как будто уже знакомых, таких душных, сладких, блаженных, что, теряя сознание, она улыбнулась им как счастью.

---

<sup>13</sup> Провались! (*фр. жаргон*)

### 3

– *Qui est-ce votre père spirituel?*  
– *Le chevalier de Casanova.*  
– *Un gentilhomme espagnol?*  
– *Non, un aventurier benitien.*

#### **Sonate de Printemps.**

**Valee Inclin<sup>14</sup>**

Какая бывает чудесная жизнь!

Две дамы в малиновых платьях, длинных, твердых, широких, танцуют, жеманно подобрыв юбки пальчиками. Под малиновым кустом сидит малиновый пастушок и играет на дудочке...

Чудные, кудрявые, малиновые облака... А за ними малиновая лодочка, и в ней мечтательная дама в малиновом платье. Она опустила руку в воду. А перед ней малиновый кавалер в завязанных бантами подвязках читает что-то по книжечке.

Какая счастливая жизнь!

Подальше на острове два барана... Еще дальше – снова пляшут пышные дамы под свирель пастушка...

Закрывать глаза и потом посмотреть повнимательнее.

Теперь все ясно. Это не жизнь. Это просто обои.

Наташа повернула голову и увидела прямо перед собой лицо сегодняшней ночи: ослепительно белое женское лицо.

Оно было меньше, чем казалось ночью, и принадлежало гипсовому бюсту итальянки, украшавшему камин маленькой уютной комнаты со спущенными розовыми шторами, с розовым абажуром в желтых бусах на висячей лампе и на лампочке ночного столика. Кто-то засмеялся за стеной, и веселый женский голос быстро что-то затараторил.

Послышался звонок, мелкие шаги за дверью. Живой разговор. Все было так просто, как во всех маленьких отельчиках. Совсем не жутко. Наташа приподнялась и увидела, что лежит в платье, в сверкающем вечернем туалете, «креасион» мэзона «Манель»<sup>15</sup>.

Это было первое, что она ясно поняла. Она лежит в вечернем платье. Она смяла чудесное вечернее платье, которое должна сдать в полном порядке.

От этого профессионального шока в усталой, одурманенной голове мысли задвигались – вспомнился весь вчерашний день, поездка в Довилль, шампанское в ресторане, Гастон, вечер, негр.

– Я напилась?

И вдруг вспомнились ночь, негр, шепот:

«Она смотрит!»

Рука...

Наташа опустила ноги с кровати. Голова слегка кружилась.

Что они смотрели на столике – негр и тот, другой?

На столике лежали ее розовый жемчуг и сумочка. Больше ничего. Может быть, негр думал, что жемчуг настоящий, и хотел обокрасть ее?

И вдруг она спохватилась.

Где манто?

На манто был дорогой мех!

<sup>14</sup> «А кто ваш духовный отец?» – «Шевалье де Казанова». – «Испанский дворянин?» – «Нет, венецианский авантюрист». «Весенняя соната». В. Инклян (фр.)

<sup>15</sup> «Произведение» модного дома «Манель» (искаж. фр.).



Украли!

Она вскочила.

О-о-о! Вот это действительно было бы ужасно!

Чуть не плача, обошла она комнату.

– Слава богу!

Манто завалилось между кроватью и стеной.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, в комнату заглянула приветливо улыбающаяся пожилая горничная в белой наколке.

– Мадам уже встала? Мадам хочет кофе?

Она подбежала к окну и отдернула занавески.

– Я сейчас принесу.

Из окна видны были площадь, трамвай, набережная. Все такое простое, обычное. И горничная так приветливо улыбалась. Ничего, значит, особенного не произошло. А уж одну минуту мелькнула у нее мысль – не подсыпали ли ей чего-нибудь в коктейль... Может быть, даже и негр не приходил ночью... И все это был сон.

Горничная принесла кофе с круассанами.

– У вас много жильцов? – спросила Наташа.

– Да, с субботы на воскресенье многие здесь ночуют. Приезжают танцевать и остаются.

Наташа спокойно выпила свой кофе.

Хорошо, что сегодня воскресенье. Она успеет к завтраму привести платье в порядок.

Подошла к зеркалу, достала из сумочки пудру и карандаши. В другом отделении, куда она прятала духи, платок и деньги, были только духи и платок. Три стофранковых билета, оставшиеся от денег, присланных мосье Брюнето в ресторан, пропали. В ресторане она их потерять не могла, потому что помнила, как здесь, в дансинге, заметила, что мокрая подкладка подкрасила их зелеными пятнами. Значит, они пропали здесь.

Она открыла еще раз отделение, где были карандаши и пудра, и нашла полтора франков, смятые комочком. Это были ее собственные деньги, которые она везла из Довилля.

Итак, все-таки ее обокрали. Кто? Негр? Гастон? Или тот, другой, чьего лица она не видела? Да ведь это, пожалуй, и был Гастон...

Жалко было денег.

Вот и повеселилась «богатая англичанка»! Значит, и им тоже несладко живется. Хорошо еще, что не задушили. Надо будет нарочно пойти когда-нибудь на Монмартр, в тот ресторан, и посмотреть этому Гастону прямо в глаза.

Какой от этого будет толк, она себе ясно не представляла. Спросить про деньги все равно не решится...

Из трамвая выпрыгнул элегантный молодой человек и стал переходить площадь. Приблизившись к отелю, он поднял голову и обвел глазами окна.

– Гастон!

Гастон. И шел, очевидно, сюда, в отель. Как же он осмелился?..

Она накинула свое чудесное манто и вышла в коридор. Гастон поднимался по лестнице.

В полутемном коридоре плохо видно было его лицо.

– Как я рад, что вы встали, – радостно сказал он. – Я ужасно беспокоился. Все думал, что это, может быть, от коктейля вам стало плохо. Но ведь все прошло? Правда?

«Горничная могла стащить деньги», – быстро решила Наташа и протянула Гастону руку.

У него были мягкие свежие губы, и он так ласково держал ее за руку.

– Мы непременно здесь позавтракаем! – сказал он. – Я специально для того и приехал, чтобы угостить вас уткой с апельсином. Это здешняя специальность. Посидим на балкончике, посмотрим на публику и чудесно позавтракаем. А потом я вас сам отвезу домой.

– Какой противный вчера был негр, – вдруг вспомнила Наташа.

– Негр? Негр дрянь: он остановил меня, когда я вчера шел вам за коктейлем, и болтал какую-то ерунду, что вы не англичанка, и всякий вздор. Я его оборвал сразу. Он совсем дрянь. С ним не надо кланяться.

– Да я и не собираюсь.

Они вышли на веранду, где уже начался завтрак.

Чудесный солнечный июньский день такой был веселый, радостный, будто сам смеялся.

Прошла какая-то экскурсия, вероятно общества приказчиков, с трубами и барабанами, украшенными вялыми цветами. Приказчики приостановились и дикими звуками исполнили марш из «Фауста», которого почти никто из слушателей не узнал.

По реке широким лебедем проплыл белый пароход...

«Сказать про деньги или не сказать? Жулик он или не жулик?» – думала Наташа, глядя на розовое, свежее лицо Гастона, на его детскую улыбку с ямочками и смеющиеся ясные глаза.

– Я знаю, о чем вы думаете, – сказал Гастон. – И отвечу вам прямо «да».

Наташа смутилась.

– О чем же я, по-вашему, думала?

– Обо мне.

– Но что именно?

– Ага, значит, признались, что обо мне. Мне только этого и надо было. Так вот, повторяю снова – «да». И прибавлю – «безумно».

«Какой он, однако, слава богу, болван», – облегченно вздохнула Наташа.

Но с ним, с болваном, было весело. Жизнь делалась забавнее и занятнее, если смотреть на нее вместе с веселыми глазами Гастона. Днем тягучие и душные его духи чувствовались меньше, легче, не беспокоили и не тревожили.

– Вам нужно чуть-чуть желтое розовое для щек. О, нет, только не «мандарин»<sup>16</sup>. Есть такой. Я вам привезу. И ногти чуть-чуть розовее и непременно длиннее. Ваш жанр должен быть всегда немножко «чересчур». Понимаете? Надо непременно выработать жанр. Вы только никогда не подходите к испанке – шаль, гребенка... Это к вам очень пойдет, но сразу сделает банальной. Золотые ногти? Это вам бы пошло, если бы их никто не носил, а вы сами бы выдумали. А теперь уже нельзя. Вы должны быть всегда особенной. Я для вас все придумую.

Он был страшно мил.

Подали счет.

Он взял ее руку и несколько раз поцеловал мягко и ласково.

Потом вынул две стофранковые бумажки и сунул их под сложенный на тарелке счет.

На уголке бумажки, торчавшем из-под счета, Наташа ясно увидела зеленое пятно.

---

<sup>16</sup> Цвет пудры.

## 4

*Все что угодно... но уже не вор, не вор окончательно, ибо, если бы вор, то, наверное, бы не принес назад половину сдачи, а присвоил бы и ее...*

**Ф. Достоевский.**

**«Братья Карамазовы»**

Гастон остался растерянный и искренне удивленный, когда Наташа, холодно отказав ему в просьбе проводить ее, села одна в такси.

«Украл? – думала она. – Ясно, что украл. Но почему же так беспечно вынул эти деньги при мне? Или потому, что не знал, что на них моя зеленая отметина? И еще – почему если украл, то не скрылся, а, наоборот, сам пришел и на меня же эти деньги истратил?»

Что он все время бестолково и глупо врет – это было ясно. Но врет как-то по-мальчишески, так что если поприжать его, то, наверное, сразу засмеется и признается. Кто он? Что за человек? Пожалуй, надо было бы рассказать ему о том, что деньги пропали. Решиться, да так, как в прорубь головой. Да, впрочем, никакой и проруби не вышло бы, отоврался бы как-нибудь...

\* \* \*

На другой день, в унылый дождливый понедельник, в мастерской мадам Манель настроение было сгущенно-электрическое, как перед грозой.

Манекен Вэра отсутствовала. Была больна. Мосье Брюнето зарылся с головой в счетные книги. Сама мадам не показывалась, только развила усиленную телефонную деятельность. Через дверь ее бюро доносилось непрекращаемое «алло-алло». Это был безошибочный признак дурного настроения.

Клиенток было мало. Понедельник – день тихий.

Наташе пришлось показывать на себе купальные костюмы. Показывать их надо не так, как обычные салонные или спортивные платья. На все нужна своя сноровка.

В салонном платье манекен идет маленькими шажками. Если на ней юбка с оборкой, делает быстрые повороты, чтобы оборки «жили, играли». Если широкий рукав – приподнимает руку.

Пройдясь полукругом, манекен обыкновенно отходит в глубину комнаты и оттуда, не оборачиваясь, решительно и смело идет прямо на клиентку. У некоторых манекенов этот последний маневр принимает иногда чрезмерно вызывающий характер. Одна простая русская душа, любясь мадемуазель Вэра, на этом маневре даже струсила.

– Ой, батюшки, – всколыхнулась она. – Чего же это она так? Ну прямо точно в морду дать хочет!

Спортивные платья показываются юно, свежо, по-мальчишески. Уперев руку в бедро, поджав живот.

Купальный костюм требует купальных поз, сжатых колен, откинутой фигуры.

Наташа сидела в душевной комнате, где кроме нее вздыхали, потели и переодевались шесть молодых женщин в одинаковых телесно-шелковых чулках и казенных золотистых туфлях, которые ко всему подходят.

Двери в коридор были открыты, но сновавшие там рассыльные мало смущали голых красавиц. Профессиональная привычка, шокировавшая только новеньких, и то недолго.

День шел нудный, тягучий, и ничто не мешало бестолковым переборам в Наташином мозгу.

...Если вор, то почему пришел, почему украденные у меня деньги на меня же истратил?..

...Почему наврал, будто негр говорил, что я не англичанка? Чтобы выпытать, кто я? Но ведь он же ни разу и не спросил об этом.

...Во всяком случае, думать тут нечего. Денег не вернешь, а от этого темного типа подальше.

И конечно, лучше бы не думать и от темного типа подальше, но одна из голых девиц, влезая в пеструю турецкую пижаму с заходящим солнцем на поясице, вдруг запела:

– «Ce n'est que votre main, madame»<sup>17</sup>.

Это то, что напевал Гастон. Он напевал по-английски:

– «J kiss your little hand, madame»<sup>18</sup>.

Голос у него был чуть-чуть хриплый, странный, очень чувственный. И ямочки у рта смеялись, и глаза смеялись и говорили: вот какая забавная штука! Вот попробуй-ка не почувствуй моего хриплого голоса! Ага! Вот и попалась!

Она охватила спинку стула и опустила лицо в мягкую душистую складку согнутой руки.

От этого телесного нежного ощущения и от тихого напева «той» песенки ей стало так невыносимо беспокойно, что она чуть не застонала.

– Нужно все это разузнать, иначе я не успокоюсь.

Но пойти на Монмартр было совсем немыслимо. Спросить у Шуры, танцовщицы, что она о нем знает? Но где достать адрес Шуры? Монмартр вычеркивается. Пойти разве к баронессе?

Баронесса фон Вирх, или попросту Любаша, когда-то училась пластическим танцам и с тех пор поддерживала знакомства в балетном мире. Особенно во время междуцарствия, то есть когда она оставалась без богатого поклонника, ее всегда тянуло в богему. И как раз дня три тому назад Наташа слышала от мосье Брюнето, что баронесса не оплатила уже три счета. Значит, дела в упадке и богема в моде. Можно узнать о Шуре.

---

<sup>17</sup> «Только ваша рука, мадам» (фр.).

<sup>18</sup> «Я целую вашу маленькую руку, мадам» (англ., фр.).

## 5

*Le fleuve ne suit pas d'autre voie que la sienne.*  
**Paul Fort**<sup>19</sup>

Баронесса фон Вирх была самая настоящая баронесса, вышедшая замуж еще до войны за молодого представителя богатого дворянского рода барона Григория Оттоновича фон Вирха. Прошлое баронессы до Вирха, как история мидян, было «темно и непонятно». Говорили, будто она была несколько раз замужем, начала свою карьеру хористкой, а так как в точности никто ничего не знал, то и врал о ней каждый в соответствии своего к ней отношения.

Возраста ее не могли определить даже приблизительно. И скрывался он тщательно.

По этому поводу рассказывали забавный анекдот (который, впрочем, относили иногда и к другим интересным дамам).

В период бегства из пределов Совдепии и хлопот о пропусках большевики опрашивали Любашу. Спросили, между прочим, о ее возрасте.

– Ну, это дудки, – решительно ответила она. – Этого вы от меня никогда не добьетесь. Можете, если хотите, расстреливать.

На вид ей было не больше тридцати, тридцати пяти. Но кто-то, человек как будто достоверный, клялся, что у нее в Харькове сын большевистский комиссар.

Говорили также, что у нее замужняя дочь и взрослые внуки. Вообще – говорили много.

В эмиграции барон за бедностью и полной ненадобностью стусеивался. Где-то что-то работал весьма неопределенное. То заведовал чьим-то образцовым курятником, то коптил рыбу, то точил гайки в граммофонной мастерской, то служил как *chef de reception*<sup>20</sup> в русском ресторане. У жены появлялся редко, и почти никто из баронессиных завсегдатаев с ним не встречался.

Но отношения у супругов сохранились хорошие, товарищеские, и если условия сложного баронессиного быта позволяли, а печальные условия барона того требовали, то он иногда водворялся на несколько дней в ее элегантном особнячке. Ему стелили на диване, и он, как собака, целый день так и сидел на этой подстилке.

В Париже баронесса известна была под именем Любаши, к ней относились хорошо и успехам не завидовали, вероятно, потому, что ее ослепительная красота давала ей право на всякие радости жизни и на всякие пути к этим радостям.

Но забавнее всего, что среди подруг она считалась умной женщиной, тогда как если надо было бы установить незыблемую единицу, так сказать, исходное мерило глупости, то лучше и определеннее Любаши найти было бы невозможно. Говорили бы:

– Глупа, как две Любаши.

Или:

– Чуть-чуть умнее Любаши.

Это не значит, что она была образец глупости какой-либо исключительной. Нет, глупость ее была именно явлением той божественной пропорции, классически цельной и полной, какая в науке может быть взята за единицу.

Но считалась она умной, вероятно, потому, что строила свою жизнь на четырех правилах арифметики. Два из них – сложение и умножение – считала хорошими и к ним стремилась. Два – вычитание и деление – устраняла всеми силами. А силы были большие, и все в ее красоте.

---

<sup>19</sup> У каждой реки только одно русло. *П. Фор (фр.)*

<sup>20</sup> Распорядитель приемов (*фр.*).

В Париже Любаше устроиться удалось не сразу. Барон жерновом на шее тянул ее книзу. Приходилось выкручиваться. Была продавщицей в модной мастерской, но иностранных языков не знала и карьеры не сделала и ушла, прихватив мужа хозяйки.

Стала учиться пластическим танцам, выступила несколько раз в ночном ресторане и ушла, прихватив богатого американца.

– Умная баба, – говорили о ней приятельницы. – Вот как надо жить.

Но урок этот мало кому шел на пользу. Большинство Любашиных приятельниц и без этого урока старались устраивать жизнь по четырем правилам арифметики, но, не имея главного слагаемого – ее чудной красоты, – проваливались.

Знал ли о ее похождениях барон? Этот вопрос вначале интересовал многих.

Трудно было ничего не знать и не понимать, видя ее жизнь, туалеты, квартиру, автомобиль.

– Ведь эдакий дурак!

– Дурак-то он дурак, а, впрочем, кто его знает.

Потом решили, что она, значит, что-нибудь навирает, а он, значит, делает вид, что верит. А впрочем, не все ли равно. Кому какое дело?

Она была мила, приятна, любезна, когда могла – давала на благотворительность. На ее больших вечерах бывали очень видные представители русской эмиграции, которых она знакомила с лысыми французами с розетками в петличках.

– Notre celebre<sup>21</sup>, – говорила она о каждом, – о русском и о французе, и обоим им было приятно, что его называют celebre, и лестно, что знакомят с celebre, размера celebre<sup>22</sup> которого он в точности не знал...

А баронесса угощала хорошим русско-французским ужином и очаровательно картавила, как большинство наших эмигранток, постигших французский язык уже по приезде во Францию.

Все это было чудесно, а больше никому ничего и не требовалось.

---

<sup>21</sup> Наш знаменитый (фр.).

<sup>22</sup> Знаменитость (фр.).

## 6

*«Теперь стойте крепко, – сказал капитан, – будет приступ».*

*А. Пушкин. «Капитанская дочка»*

Чтобы побывать у Любаши, Наташе пришлось дожидаться до среды, своего выходного дня, потому что баронессу легче всего застать было днем.

На звонок открыла маленькая востренькая дамочка на тонких ножках, на скривленных каблучках – придворная Любашина маникюрша Анфиса Петровна, по прозвищу Фифиса.

По тому, что открыла дверь Фифиса, а не горничная, Наташа сразу поняла, что в предположениях не ошиблась и что у Любаши временный крах.

Фифиса издала приветливый возглас и крикнула в сторону гостиной:

– Свои, свои, не пугайтесь!

Наташа вошла.

На широком низком диване, вся зарывшись в золотые подушки, высоко перекинув нога на ногу, полулежала розово-золотая хозяйка дома.

В белом атласном халатике, отбросив широкие рукава так, что видны были до плеч ее сверкающие круглые руки, закинута за пушистую сияющую белокурую голову, тонкая, но не худая, с легкими ямочками на щеках, на розовых локтях, она казалась солнечным лучом, брошенным на эти золотые подушки, и иными словами, как «сверкает», «сияет», «слепит», о ней и говорить было нельзя.

Рядом на креслах расселся ее двор, выползающий на свет божий только в черные дни, когда поклонников не бывает и гостей не принимают: длинновязая, гололобая, с неистовыми жестами и почему-то в вечернем туалете без рукавов – перекупщица старого платья Луиза Ивановна, прозванная Гарибальди за то, что любила рассказывать, как ее тетка видала знаменитого итальянца. Рядом с ней – широкая, костистая, с крашеными волосами, ломко и сухо вьющимися, как австралийский кустарник, бровастая гадалка Марья Ардальоновна, называемая для краткости просто Мордальоновной.

Вообще в этом кружке все были известны больше по прозвищам, чем по настоящим именам.

Тут же уместилась и известная нам Фифиса.

Мордальоновна, по-видимому, только что кончила гадать, потому что, задумчиво помуслив большой палец, медленно перебирала шелковисто-сальные зловещей величины карты. На кокетливом столике лежала развороченная масляная бумага и в ней остатки ветчины и крошки хлеба. Судя по виду, ветчину не резали, а прямо драли руками. Да и прибора на столе никакого не было.

Тут же стояло штук шесть запечатанных фарфоровых баночек с каким-нибудь, должно быть, снадобьем для красоты.

Вообще беспорядок в комнате был изрядный.

На креслах разложены платья, манто и шелковые тряпки, на полу раскрыты картонки, на столе окурки, на пыльной крышке рояля две пустые бутылки и стакан.

– Марусенька! – приветливо кивнула Наташе хозяйка, не поднимаясь с места. – Не купите ли крема?

– Я теперь Наташа, – поправила ее гостя, нагибаясь и целуя душистую щечку Любаши.

– А, да, я и забыла! И чего это они вам, словно собакам, клички меняют?

– Теперь мода на Наташу и на Веру, – деловито объяснила гостя. – В каждом хорошем мэзоне должна быть Наташа, русская княжна.

Любаша посмотрела на нее своими синими глазами внимательно и сказала:

– А у вас какая-то перемена. Волосы отпустили? Нет. Просто у вас сегодня есть какое-то выражение лица.

– Ох, уж и скажут тоже! – всплеснула руками Мордальоновна. – Точно у них всегда лицо без выражения!

– Однако и хаос у вас! – заметила Наташа.

– Ужас, ужас, – вздохнула хозяйка и озабоченно повернулась к Гарибальди.

– Ну-с, ангел мой, за манто меньше шестисот я не позволяю. Если в один день сумеешь ликвидировать, то есть принесешь деньги завтра, то, так и быть, валяй за пятьсот. Ведь оно совсем новое, от Вионэ, и марка есть. За черное платье – триста, за зеленое – двести пятьдесят. Но только – живо!

Гарибальди жеманно шевелила плечами.

– Ах, *comme vous etes!*<sup>23</sup> Ваши платья продавать – это, как говорится, совсем *pas facile*<sup>24</sup>. Они слишком *habillees*<sup>25</sup>. Бедным дамам такие не пригодятся, а *dames du monde*<sup>26</sup> ношеного не купят.

– Ну, ну. Очень даже купят. Убирайте все это барахло. Ко мне скоро придут.

Гарибальди стала складывать платья в картонки.

– А какой они национальности? – вдруг спросила гадалка Мордальоновна, очевидно продолжая какой-то разговор.

Любаша сосредоточенно сдвинула брови:

– Н-не знаю. По внешности, пожалуй, вроде еврея.

– Не в том дело, что еврей, – затараторила, по-птичьей вертя головой, маникюрша Фифиса, – а в том, какой еврей. Если польский – одно, если американский – другое.

– Ну-у? – удивилась Мордальоновна.

– Польские в Париж надолго не приезжают. Уж я знаю, что говорю, – тарантила маникюрша. – У них деньги плохие, пилсудские деньги. И родственников у них много, и семейство всегда большое. Польские евреи – это самые женатые из всех. Вот американский – это прочный коронный мужчина. Он как сюда заплывет, так уж не скоро его отсюда выдерешь. Американский – это дело настоящее. А он на каком языке говорил-то? – тоном эксперта обратилась она к Любаше.

– По-французски.

– Ну тогда, значит, американский.

– Я на него карты раскладывала, – вставила гадалка. – Выходило, будто приезжий и будто большие убытки потерпит. Хорошая карта.

– Ты, Мордальон, смотри не уходи, – озабоченно сказала Любаша. – Ты непременно должна ему погадать. Нагадай, что в него влюблена блондинка и что ее любовь принесет ему счастье. Поняла, дурында?

– Погадайте на меня, – сказала Наташа.

– Извольте. Снимите левой рукой к себе. Задумывайте...

Огромные, разбухшие карты шлепались на стол мягко, как ободранные подметки.

– Если не продадутся платья, – говорила между тем Любаша, – я у Жоржика попрошу денег. У Жоржика Бублика, он мне всегда достанет.

И вдруг весь курятник забил крыльями.

– Мало вам того, что было! – кричала маникюрша. – Триста франков даст, а тысячу унесет...

---

<sup>23</sup> Вот вы какая! (*фр.*)

<sup>24</sup> Нелегко (*фр.*).

<sup>25</sup> Ношенные (*фр.*).

<sup>26</sup> Светские дамы (*фр.*).



– Часы-браслет... – перебила ее Гарибальди.  
– Его помелом гнать! – бросив карты, вопила гадалка.  
– На кого надеяться!..  
– Парижский макро! Саль тип!<sup>27</sup> – вставила жеманная Гарибальди.  
– А еще умная женщина!  
– Это еще не доказано, – искусственно равнодушным тоном сказала хозяйка. – Еще не доказано, что он унес.

– Да чего же вам еще! – возмущалась маникюрша и, обернувшись к Наташе, которая одна не знала, в чем дело, продолжала:

– Все пошли в столовую закусывать, а он тут остался фантазировать на рояле, вот здесь. А дверь в спальню открыта, и на столике часы-браслет. Отсюда, от рояля, отлично видно. С бриллиантками, все их знали. И вдруг и пропали. На Жанну думали. А вся прислуга в один голос на него говорит. Под суд бы его сразу.

– Ах, оставьте! – с досадой прервала ее Любаша. – Если бы его стали допрашивать, он бы со злости такой ушат мне на голову вылил, что дорого бы мне эти часы обошлись.

– Ну, знаете, этого бояться, так, значит, ни на кого жаловаться нельзя?

– Жалуйтесь, если вам нравятся скандалы, – гордо отрезала Любаша, – а я замужняя женщина и дорожу своей репутацией.

На одну секунду воцарилась тишина.

Не только все молчали, но даже не шевелились.

И вдруг маникюрша будто даже испуганно сказала:

– Ой!

И это «ой» прорвало заслоны.

Так, готовая к линчеванию толпа иногда не может приступить к делу, не хватает ей какого-то возгласа, жеста, чего-то логического или, вернее, художественного – потому что во всех массовых движениях есть свой тайный художественный закон: не хватает этого «нечто», что дает возможность перейти от настроения к делу.

И вот это «ой» – двинуло.

Первая взвизгнула Гарибальди.

Визгнула, выскочила на середину комнаты и согнулась от смеха пополам. За ней раскатилась гусиным гоготом Мордальоновна, захохла маникюрша, затряслась от смеха Наташа и сама хозяйка, минутку задержавшись, прыснула и повалилась на диван, дрыгая ногами от смеха.

– Ой, не могу! Ой, не могу! – ревела Мордальоновна.

Визг, всхлип, гогот...

Они заражали друг друга смехом, и кто уже было успокоился, подхватывался общей волной.

Длинная Гарибальди, оставаясь посреди комнаты, истерически топала ногами, и все увидели, что башмаки у нее «с чужого плеча», огромные и плоские и загибаются носами, как у Шарло Чаплина. Мордальоновна лежала головой на столе.

И вот на этот визг и вой отворилась дверь, что около рояля, дверь, ведущая в спальню, и оттуда вышел некто, кого Наташа еще ни разу здесь не видела.

Это был высокий костлявый человек, лучше бы всего назвать его «верзилой». Лицо у него было скуластое, и с круглых этих скул, как с гор вода, стекала жидкая русая бороденка, стекала и закручивалась сосулькой на подбородке. Нос, толстый, неровный, торчал, как задранный кулак, над недоуменно приоткрытым ртом.

Одет верзила был в потрепанную непромокайку и шляпу держал в руках. Очевидно, собирался уходить.

---

<sup>27</sup> ..Проходимец! Грязный тип! (фр. жаргон)

Войдя в комнату, где все хохочут, он сначала растерянно оглянулся, потом неожиданно закинул вверх голову и закатился беззвучным смехом, странным, судорожным, словно зевал. Бороденка тряслась, и сам он был трагически смешон, с закрытыми глазами, с задранным носом, с отвалившейся нижней челюстью...

– Грива! – крикнула Любаша.

И, видя недоумение Наташи, прибавила:

– Вы разве не знакомы? Мой муж, Григорий Оттонович, барон фон Вирх Грива! Закрой рот!

Но барон все еще трясся от смеха, и Наташа с ужасом подумала, что хохочет он, не зная почему, а все-то кругом знают, что тема общего веселья крайне деликатная и именно для него отнюдь не веселая.

Потом Наташа пожала ему руку, и его маленькие сонные глаза мутно скользнули по ее лицу.

– Ну, я пошел, – сказал он добродушно и провел пятерней по своим нечесаным прядистым волосам.

– Ладно, голубчик, – сказала Любаша. – Ну поцелуй Люле ручку и иди.

Он нагнулся к ней, и, когда целовал ей руку, она что-то шептала ему на ухо. Он осклабился и пошел к двери.

– Ну погадайте же, – очнулась Наташа. Барон произвел на нее очень тяжелое впечатление.

– Да разве тут дадут, – проворчала Мордальоновна, шлепнула картами и затянула певучим, как все гадают, голосом: – Ну вот... Что хотите знать, того не узнаете... так, так... три шестерки... дорога будет... И путаница большая. И так выходит, что будете вы по воде к себе домой возвращаться...

– В Россию, что ли? – усмехнулась Наташа.

– А все-таки скажу, бойтесь воды. Ух, бойтесь, бойтесь воды!

– Бойся воды и пей шампанское, – сказала Любаша и вдруг раздраженно закричала: – Ну, господа, нашли тоже время гадать! Ко мне сейчас придут, тут не убрано – это прямо невозможно! Смотрите – жрали ветчину, и так все и валяется... Мордальоновна, принесите из кухни тряпку. Где счета от портнихи? Надо счета положить на стол. Фифиса, посмотрите, нет ли в спальней. От Манель. Что?

– Да я говорю, что неловко так сразу, первый раз человек пришел, и вдруг сразу и счета на столе. Поймет, что нарочно приготовили, – урезонивающим тоном протестовала Фифиса.

– Ну что там дурак поймет!

– Дурак! А коли не дурак?

– А не дурак, так тем лучше. Сразу увидит, чего от него ждут. Ну, живо!

Работа закипела. Мордальоновна покорно и даже как будто испуганно вытирала стол, мела пол, дула на крошки. Фифиса носилась вихрем на своих тонких ножках. Никто уже не шутил и не смеялся. Все понимали, что с забавами и хихиканьем покончено, что надо готовиться к приступу, чтобы враг не застал врасплох.

Любаша, с лицом сосредоточенным и сразу до неузнаваемости постаревшим, руководила работами. Ее выслушивали почтительно, забыв о всякой фамильярности.

– Мне как же, надеть передник? – спросила Фифиса.

– Да, пожалуй, лучше в переднике. Если найдется чистый... И когда впустите, попросите подождать и пойдете мне доложить. Поняли?

– Поняла-с.

– А Мордальоновна будет здесь сидеть с картами. Счета нашли?

– Здесь-с. Вот я на столе положила, как приказали.

Наташа встала.

– Я ухожу.

И вдруг вспомнила:

– Да, я ведь пришла спросить – не знаете ли вы адрес Шуры Дунаевой? Танцовщицы.

– Ах, Шуры-Муры? Господа, кто знает адрес Шуры-Муры?

– Я знаю, – отозвалась Фифиса. – Они обе живут в отельчике на Клиши. Улица Клиши, номер пятый.

– Спасибо.

Наташа подошла к Любаше, чтобы поцеловать ее на прощанье.

– Ах, боже мой! – вдруг вскрикнула та. – Вино забыли! Фифиса, беги скорее за порто. Бутылку порто. Нет, внизу больше не дают. Беги через улицу и купи на деньги. И возьми бисквитов. Мордальоновна, приготовь стаканчики, да живее! Он каждую минуту может прийти. Фифиса! Вот тебе деньги.

И в то время как Наташа, чувствуя, что мешает, и торопясь уйти, целовала ее в щеку, она вынула из сумочки единственный бывший в ней денежный знак – сложенную вчетверо стофранковку – и протянула ее Фифисе. Рука ее, сверкая огромным бриллиантом кольца, была мгновение так близко от лица Наташи, что ошибиться Наташа никак не могла. То, что она увидела, было ясно и показаться не могло: она увидела на сложенной вчетверо стофранковке яркое зеленое пятно.

## 7

Наташа особой любовью среди своих приятельниц не пользовалась. Ее считали глуповатой, неинтересной, ничего не обещающей. Прозвище, которое к ней приклеили и о котором она, к счастью для себя, не догадывалась, хорошо определяло отношение к ней. Ее называли «восточная кобылица».

На лошадь она, между прочим, совсем не была похожа: среднего роста, стройная, с движениями легкими и мягкими, с лицом совсем уж не лошадиным, недлинным, с темными тихими глазами. Но, странное дело, прозвище это все-таки подходило к ней. Может быть, определяло какой-то душевный склад ее. Объяснить это трудно. Так, например, почему одному человеку «идет» имя Александр, а другому Сергей? Чем вы это объясните? Какие данные и приметы должны быть у того и у другого? Как определить? А между тем это так.

Красивой Наташу признавали все. Но нравилась она мало кому.

– Неинтересна.

– Скучная.

И действительно, ей было на свете скучновато. Точно всегда была она не на своем месте. В буржуазном обществе чувствовала себя богемой, в среде богемы сжималась и смущалась. Было в ней что-то стародавнее, хотя во время революции была она месяца три замужем за бывшим помещиком. Во время эвакуации они потеряли друг друга, да Наташа и не горевала об этом. Не по легкомыслию, а потому, что в то безумное время многие так истерически сходились от страха одиночества, от предсмертной тоски, когда нужно, чтобы был хоть кто-нибудь, кому можно сказать:

– Мне страшно!

И можно сказать:

– Прощай!

Находили друг друга не ища, сходились, расходились, и, уходя, ни один не смотрел вслед другому...

После мужа были у Наташи романы, короткие и скучные, и ни один из этих случайно подошедших к ней людей не искал тепла, близости душевной, ни один не рассказывал с грустью и нежностью о годах своего детства, не каялся со сладким стыдом в былых увлечениях. К близости с ней относились как к остановке на маленькой почтовой станции. Едет человек на перекладных, ждет, пока перепрягут лошадей, и знает, что сейчас же и дальше. Так не распаковывать же на такой короткий срок своих чемоданов!..

Недолгие, скучные романы: несколько обедов в ресторане, несколько дансингов, несколько театров. И все.

– Мы будем переписываться...

– Вы меня не забудете?

– Ни-ко-гда.

Они уходили, и она не вспоминала о них. Даже во сне.

\* \* \*

Выйдя от баронессы, Наташа пешком пошла домой. Шла медленно, останавливаясь, так билось сердце, что даже тошнило.

– Это уж прямо психоз, – говорила она себе. – Я всюду вижу эти зеленые знаки. Точно какой-то авантюрный роман. Тайна зеленого пятна... Но все-таки – в чем же дело? Допустим, что Гастон взял тогда мои деньги, и я видела у него свою бумажку. Но как могла попасть такая же бумажка к Любаше? Случайно тоже запачкалась в зеленую краску? И случайно два точно

таких же пятна – одно широкое, круглое, другое длинной полосой... Уж очень была бы удивительная случайность. Прямо чудо.

Но не могла же она спросить у Любаши – откуда у нее эта бумажка. Совсем был бы идиотский вопрос. Если бы можно было рассказать всю субботнюю историю, тогда и спросить было бы вполне естественно. Но рассказывать нельзя. Поехала черт знает с кем, напилась и ночевала в каком-то притоне. И после этого еще завтракала с этим самым типом! Все эти Любаши, наверное, проделывают вещи и похуже, но уж конечно никогда об этом не рассказывают.

Нет, ничего рассказать нельзя, и про странную стофранковку тоже спросить нельзя. Потом все, наверное, выяснится.

А теперь оставалось одно: разыскать Шуру и спросить, что она знает. Шура милая и простая, может быть, ей можно будет рассказать... Уж если кому – так именно ей одной.

## 8

Дом, где жили Шура-Мура, Наташа искала недолго. Это был парижский отельчик, населенный почти сплошь русскими, такой для русского гнезда типичный, что и на номер смотреть не нужно, и так ясно.

Из окна второго этажа, крутясь, спускалась на веревке бутылка, остановилась около окна первого этажа, и звонкий женский голос закричал:

– Марфа Петровна! Плескните уксуску! Томаты заправить. Не могу в коридор выйти, я на дверь записку нашла, что меня дома нет. Ведь куску проглотить не дадут... А, Марфа Петровна?

А из окна первого этажа толстая голая рука ловила бутылку.

По узенькой крутой лестнице-винтушке Наташа стала подниматься. Всюду неплотно прикрытые двери и из щелей – любопытные носы, тараканьи усы, острые глаза, шорохи, шепоты, детский рев и громкие споры самого интимного содержания. Кое-где на дверях записочка:

«Ключ под ковриком».

«Маня, подожди Сергея».

«Ушла за телятиной, твоя до гроба».

А на двери, за которой громче всего галдели и стучали вилками, – лаконическое и суровое:

«Дома нет».

Лестницы в таких отельчиках всегда вьются так круто, что поднимающемуся кажется, будто он видит свои собственные пятки. И все время бегают по этим лесенкам жильцы, то вниз в лавочку, то друг к другу за перцем, за солью, за спичками.

Шныряют по лесенкам и торговые люди с корзинками и пакетиками, предлагают за 20 франков чулки, «которым настоящая-то цена 60», либо флакончик духов неопределенных запахов за восемь франков «вместо сорока». Носят и копченую рыбу, «вроде нашего сига», и в той же корзинке крепдешины, «каких в магазине вам и не покажут».

Наташе повстречалась приятная конопатая скуластая рожа с узлом в руках и, смущенно улыбнувшись, предложила:

– Не желаете сукенца хорошего?

И, уже спустившись на несколько ступенек, прибавил совсем безнадежно и единственно в силу коммерческой техники:

– Есть отрез на брюки...

Сверху перегнулся кто-то через перила и крикнул:

– Если вы к Саблуковым, то они просили обождать.

А из двери высунулся любопытный нос и спросил:

– Да вы к кому?

Она сказала.

– Так ведь они, кажется, уезжают, – пискнул кто-то из другой двери.

– Это танцовщицы-то? Нет, они должны быть у себя! – закричал кто-то этажом ниже.

Из той двери, где «никого не было дома», тоже высунулся кто-то и что-то посоветовал...

Наташа поднялась на пятый этаж и постучала. Встретили ее радостным визгом. Визжала Шура. Мурка выразила свою радость улыбкой и еще тем, что немедленно освободила один из двух стульев, составлявших меблировку комнаты, от наваленных грудой кисейных юбок, галунов и шарфов, и подвинула его Наташе.

– Наташа! – визжала Шура. – Уезжаем! Контракт на пять городов... В меня влюблен голландец... Ни слова ни на каком языке... Какая ты красавица! Кто тебе дал мой адрес?

– Адрес я достала у Любаши Вирх, – еле смогла вставить Наташа.

– У Любаши? Правда, какая красавица? И, заметь, ей больше шестидесяти... Видела кольцо? Бриллиант? Это ей подарил какой-то раджа или хаджа. Дивный! Подарил с условием, чтобы она его только дома носила... Мурка, есть у нас молоко? Да, только дома. А то если родственники увидят, так сейчас начнут судиться и отберут. И закладывать его нельзя – тоже родственники отберут. Богатейший этот ханжа. Мурка, есть молоко? Нужно ее кофе напоить.

Наташе нравилось у Шуры. Грудами наваленные на постель костюмы – все кисея, тюль, блески. На полу у камина грелся на спиртовке маленький утюжок. На стенах открытки, изображающие Шуру и Муру в балетных позах, таких диковинных, что не сразу разберешь, где рука, где нога.

На камине, прислоненный к зеркалу, тускло поблескивал почерневшей ризой образ Казанской Божьей Матери. Рядом два поменьше – Николая Чудотворца и Пантелеймона. Тут же – пестрое пасхальное яйцо и пучок сухой вербы.

Перед иконами – коробочка с пудрой, румяна, карандаши для губ и бровей. Что поделаешь – места другого нет, да и зеркало одно, а пудра и румяна в их ремесле вроде как бы соха для пахаря – нужна и благословенна.

Русские артисты вообще народ очень набожный. Довольно дикое впечатление производит на постороннего человека какой-нибудь степенный старый актер, который, стоя у кулис, зажмурит глаза и сосредоточенно шепчет молитву. И вдруг, осенив себя истовым широким крестом, выскочит курбетом на сцену и залепечет фолишонным<sup>28</sup> голоском:

– А вот и папашка! Ку-ку! А вот и папашка!

Для актеров же это вполне естественно.

Что же, разве не близки они в этой наивной вере в значительность своего искусства трогательному легендарному жонглеру, который даже такой малый дар, как способность ловить мячики, счел достойным для жертвы Мадонне?

Шура и Мура были похожи друг на друга, хотя даже не родственницы. Обе смуглые, немножко испанского типа – каких только типов не взращивала благодатная русская почва! Мура повыше, посуше, часто выступала в мужском костюме. Она хорошо знала языки, вела всю деловую переписку, а также отвечала на письма иностранных поклонников, и своих, и Шуриных.

Шуры-Муры были милые девочки. И трогательны были эти их легкие, пышные юбочки, блестящие и пестрые, как крылья райских птичек, и утюжок, и кастрюлька, и чулки, сваленные в раковину умывальника, очевидно для стирки, и все эти перья, пряжки, и картонная кукла-пупс, наряженная в балетную юбку, тоже на камине, но отставленная подальше от образов, где, темен и строг, сквозил в прорезы оклада лик святого. Темен и строг, но приподнятая черная рука его прощала и благословляла.

– Дадим ей кофе, – волновалась Шурка. Она усадила Наташу и стала перед ней на колени: – Ну, теперь я тебе расскажу. Этот голландец... на этот раз все это очень серьезно. Понимаешь? Очень. Это уже настоящее.

Личико у нее стало вдруг восторженно-печально.

– На этот раз я знаю, что меня действительно любят. Зовут его Ван Грот или Ван Крот... Мурка! Ван что его зовут? Ван как?

– Ван Корт, – отвечала Мурка.

– Ну да, Ван Корт. Я же так и говорю. Да это безразлично. Я его зову просто Ванькой. Джентльмен чистокровнейшей воды. Целый месяц угощал и меня, и Мурку, возил кататься. Теперь письма пишет. Мы ничего не понимаем. Мурка говорит, что некоторые слова похожи на немецкий. Между прочим, он страшно богат. У него там в ихнем Брюкене целый дворец. Понимаешь, чем это пахнет?

---

<sup>28</sup> Идиотский (искаж. фр.).

Шурка сделала паузу, сдвинула брови, сжала губы – изобразила, как могла, умную, расчетливую женщину. Но Наташа не придавала этому ровно никакого значения. Она знала, что Шурка жаждала только тепленькой любви и что ничего ей, кроме этой тепленькой любви, не надо, а про дворец рассказывала исключительно для того, чтобы не бранили ее душой.

В этой среде считалось вполне естественным, если женщина сходилась с товарищем по сцене, даже с бездарным и неудачником. Но человек из другого мира должен быть богат. Артистка, вышедшая замуж за студента или за бедного маленького чиновничка, возбуждает в подругах презрение, граничащее с отвращением.

– Этакая дура!

Измена своей касте должна, очевидно, чем-то выкупаться.

Вот оттого-то Шура и хмурила деловито брови.

Пусть думают: «Молодчина Шурка Дунаева! Умеет людей обирать!»

Что ж, у каждого свое честолюбие...

– Кофе готов, – сказала Мурка. – Молоко нашлось.

– Ну а как твой этот влюбленный-то? – спросила Шура, все еще не вставая с колен.

– Какой?

– Ну да чего ты притворяешься? Этот, который к тебе на Монмартре привязался.

Наташа чуть-чуть задохнулась.

– Н-не знаю. Я его больше не встречала.

– Ну, полно врать-то!

Шура так обиделась, что даже встала с колен.

– Что я тебе не друг, что ли? Он на другое же утро прибежал сюда, как бешеный, чуть свет, часов в одиннадцать. Мурка еще спала, я его в коридоре приняла. Подумай – слетал в тот ресторан, добыл наш адрес – до вечера дожидаться не мог! – прискакал о тебе расспрашивать.

– Что же он спрашивал? – сказала Наташа, стараясь быть как можно спокойнее.

– Спрашивал, правда ли, что ты англичанка и есть ли у тебя покровители. Я сначала обдала его форменной холодностью. Но он клялся, что хочет устроить твою судьбу, что у него есть для тебя очень серьезные предложения... Ну я и сочла глупым скрывать.

– А... а кто же он сам?

– Этого я в точности не знаю, но, по-видимому, джентльмен чистокровной воды.

– А раньше ты его встречала?

– Много раз. И всегда с очень элегантными дамами.

– Я тоже встречала его по всем кабакам, – вставила Мура.

– А чем же он все-таки занимается? – допытывалась Наташа.

– Ну почему же я могу знать? Может быть, просто сын богатых родителей...

– А по-моему, – сказала Мурка, – он скорее из артистической среды. Мне кажется, что года два тому назад он играл на рояле в кафе «Версай»... И пел в рупор<sup>29</sup> песенки. А впрочем, я не уверена.

– Так это всегда можно спросить. Какой же артист станет замалчивать о своих выступлениях? – волновалась Шурка. – Во всяком случае, джентльменом от него несет за сорок шагов.

– Ох, Шурка, Шурка, – покачала головой Мурка.

– Ну что «ох»? Ну что «ох»? Ее безумно полюбил очаровательный молодой человек, блестящий, интересный. Так вам непременно надо козыряться и кобениться: «Ох, почему вы не профессор агрокультуры! Ах, почему вы не торгуете фуфайками, почему нет в вас солидности?» Любили нас, подумаешь, солидные-то! Помнишь, Мурка, зимой патлатый-то этот повадился? Приватный доцент, ученый человек. Придет, – обернулась она к Наташе, – принесет полдюжины пирожных, сядет да сам все и сожрет. А потом – «ах, ах! я такой рассеянный!».

---

<sup>29</sup> Здесь – микрофон.



Любуйтесь, мол, на него, на великого человека со странностями. Нет, Наташа. Если любит тебя молодой и милый тебе человек, так и не финти, серьезно тебе говорю!

Она выпрямилась, ноздри раздула и даже побледнела, так была взволнована.

Наташа улыбнулась.

– Да я не финчу. Только, право, я его больше не видела.

– Ну, он еще разыщет тебя. Я сказала, что ты у Манель.

Наташа долго сидела у Шур-Мур. Ей было уютно и спокойно на душе, несмотря на бес-толочь и птичий беспорядок их гнезда. Она помогала закреплять блески на костюме Царь-Девы, пришивала галуны к шальварам персидской рабыни, гладила шарфы и ленты и слушала о любви удивительного голландца.

И ей не хотелось уходить из этого мира, где все так просто, ясно, весело и где ее тревога последних дней, и подозрение, и страх – все складывалось и давало сумму «интересный роман».

Она ничего не рассказала Шурке о пропавших деньгах и зеленых пятнах. Она знала, как Шурка к этому отнесется.

Да, и пожалуй, и правда – все это совпадения, воображение...

А главная правда, что уж очень скучно и пусто на свете...

## 9

2×2=4

### *Таблица умножения*

*Das ist eine alte Geschichte Doch  
bleibt sie immer neu.*

*Н. Heine<sup>30</sup>*

Да – дважды два четыре.

И всегда останется новой старая сказка.

Через два дня, выходя от Манель, почти прямо против подъезда увидела она кого-то, кто, по-видимому, ждал ее и тотчас стал переходить улицу, направляясь к ней. Она узнала его и не удивилась, даже не очень взволновалась, словно ждала этой встречи. Она только просто очень обрадовалась. Гастон шел медленно, смущенно улыбаясь.

И когда подошел, оба, улыбаясь, долго держали друг друга за руки.

– Наташа? – с ударением на последнем слоге спросил он.

Она поняла, что значит этот вопрос. Это значило, что ему все известно и он как бы просит ее согласия относиться к ней не как к выдуманной богатой англичанке, а как к настоящей маленькой служащей из модной мастерской.

Наташа засмеялась и кивнула головой.

Он повел ее в кафе, угостил шоколадом и пирожными, и сам как-то по-детски озабоченно выбирал эти пирожные, и потом следил за выражением ее лица – понравился ли ей его выбор. Очень было мило и весело в этом кафе. Сидели долго.

Потом пошли в маленький ресторанчик обедать.

В ресторанчике было уже не так хорошо. Гастон плел про себя какие-то небылицы, путал, сбивался.

– Мой отец был выходцем из Болгарии, известный богач...

– Выходцем? – перебила его Наташа. – А куда же он вышел?..

– В Ригу. Но он был чистокровный француз. А мать моя была красавица итальянка. Это был страшный мезальянс, хотя она и была титулованная.

– А как же ваша фамилия?

– Та самая, которую я вам сказал.

– А как? Я забыла.

– Гастон Люкэ.

Он посмотрел на нее, видимо, беспокоясь, что она ничего по этому поводу не говорит, и прибавил:

– Я иногда брал артистические псевдонимы...

– Вы, значит, артист?

– Да. Я кончил консерваторию в... в одном маленьком городке.

– В маленьких городках нет консерваторий.

– Это была не совсем консерватория, а – вроде. В Румынии.

– И потом выступали?

– Очень редко.

– А вы не играли в оркестре в кафе «Версаль»?

---

<sup>30</sup> Это старая, но вечно новая история. Г. Гейне (нем.)

– Никогда в жизни, – ответил он очень быстро, помолчал и прибавил: – Может быть, так как-нибудь, в шутку...

«Он стыдится этого, – подумала Наташа. – Он хочет быть в моих глазах независимым светским человеком, сыном какого-то знатного «выходца»...»

Ей стало жаль его, и тихая теплая нежность овевала ее душу.

«Не надо приставать к нему с вопросами. Не все ли мне равно, кто он? Может быть, больше и не встретимся. Уйдет и не вспомнит».

После обеда прошли по бульвару и сели за столиком большого кафе на улице.

Наташа чувствовала себя усталой и говорила мало, а Гастон увлекся беседой с алжирцем, продающим ковры. Он без конца шутил с ним и хохотал, рассматривая его товар. И хоть ясно было, что он ничего не купит, алжирец продолжил юлить около.

Такие алжирцы всегда бродят мимо больших кафе с неизменными цветными ковриками, иногда с довольно дрянными мехами или даже с поддельными жемчугами и бусами, но главное, конечно, с коврами. Бродят они также по модным пляжам, где довольно нелепо предлагать товар голым людям. Ну на что голому ковер или лисья шкура? Да и кошелек на голом нет.

И никто, между прочим, никогда не видел, чтобы у такого алжирца кто-нибудь что-нибудь купил. Существование их для всех загадка. Многие склонны даже видеть в них шпионов, но что можно около кафе шпионить? Какие оперативные планы можно продать неприятелю? Загадка.

Вот с таким алжирцем долго посмеивался Гастон. Под конец сказал:

– Я хочу совсем крошечный коврик, беленький.

И засмеялся, глядя алжирцу прямо в глаза.

– Меньше этих сейчас нет, – серьезно ответил тот. – Дайте задаток полтора ста франков.

– Сто! – сказал Гастон.

Алжирец перекинул свои ковры на руку и стал медленно отходить.

– Он сейчас вернется, – шепнул Наташе Гастон.

И действительно, алжирец постоял посреди улицы, посмотрел во все стороны, снова подошел к их столику и, сняв с плеча небольшой коврик, поднес его к Гастону. Тот дал ему сто франков и стал шупать коврик. Потом алжирец быстро вскинул коврик снова на плечо и ушел, не оборачиваясь.

– В чем же дело? – удивилась Наташа.

Ей показалось, что он сунул в руку Гастону крошечную записочку.

– Вам письмо?

– Да. От одной интересной испанки.

– Отчего же вы не читаете?

– Нельзя.

И нагнувшись к ней, шепнул:

– Кокаин.

– Разве вы нюхаете кокаин?

– Нет, это я не для себя. Это для одного знакомого. Он его продает и получает в десять раз больше.

– А вы знали раньше этого алжирца?

– Ну конечно.

Странный этот Гастон! Впрочем, он так много врет, что, может быть, и не знал раньше этого алжирца. А может быть, это и не кокаин, а действительно записка.

– Милый Гастон, – сказала она. – Если бы вы ввали не постоянно, то было бы интереснее. Я бы тогда угадывала, что – правда, что – ложь.

Гастон стал серьезным, как будто обиделся. Потом сказал:

– Если бы вы могли быть моей подругой, у меня никогда не было бы тайн. То есть – почти никогда. Ведь вы тоже не всегда говорите правду. Разве вы не выдавали себя за богатую англичанку?

– Опомнитесь! Я ни слова не сказала.

– Не сказали, но и не разубеждали меня. Вы, между прочим, говорили: «мой шофер», «моя машина»...

– Точно так же я сказала бы «мое такси»...

Он засмеялся:

– Видите, как неприятно, когда вас уличают во лжи! А по отношению ко мне вы только этим и занимаетесь!

Наташе показалось, что он сердится, и она смущенно взглянула на него. Нет, он, по-видимому, и не думал сердиться. Он посмотрел ей прямо в глаза и засмеялся.

– Ну как вы не понимаете, – сказала Наташа. – Ведь это тогда была просто шутка, забава, а не обман.

– Ну вот, вот, ведь и я тоже шучу и забавляюсь.

– А будет ли когда-нибудь правда? – спросила Наташа и сама смутилась, точно вопросом этим выдавала какое-то свое желание, какие-то надежды на дальнейшие встречи, на более сердечные и искренние отношения.

Он ничего не ответил на ее вопрос, только молча поцеловал ей руку.

Они расстались, не условливаясь о новой встрече, но на другой день он снова ждал ее на улице.

И они снова обедали вместе и вечер провели в кинематографе.

– Вы, кажется, целый день свободны, Гастон? – спросила Наташа. – У вас нет сейчас определенных занятий?

– Наоборот, я очень занят. У меня масса дел.

– Каких?

– Комиссионных. Я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне сейчас поручили продать один дом. Я на этом деле смогу заработать несколько десятков тысяч. Даже еще больше. Наташа посмотрела на его детский рот с надутой верхней губой, на розовые щеки.

– Не похожи вы, Гастон, на солидного дельца. Сколько вам лет?

– Гораздо больше, чем вы думаете, – обиженно ответил он. – Мне уже под тридцать. Я знаю, я очень моложав, но стоит мне надеть очки – я сразу делаюсь на десять лет старше.

– А вы носите очки?

– Нет.

Она засмеялась, но от разговора этого легла ей на душу легкой пленкой печаль.

«Под тридцать. Двадцать три? Двадцать четыре?.. А мне тридцать пять».

И тут же совершенно ясно видела полную неосновательность своей печали. Не все ли ей равно? Не так она стара, чтобы грустить об ушедшей юности. А если ему даже двадцать, то ей-то какое до этого дело? Пусть хоть пятнадцать. Ведь не замуж же ей за него выходить?

Мысль была совершенно ясная и дельная, но тихой печали с души не сняла.

На другой день перед уходом из мастерской она долго прихорашивалась перед зеркалом и слегка поддурманилась. «Конечно, не потому, что Гастону третий десяток, а просто так. Захотелось...»

И, выйдя из подъезда, пошла не как всегда – ленивой и усталой походкой, а легко, быстро, прямо, словно показывала покупательницам новую спортивную модель.

Она дошла до конца улицы, вернулась, прошла снова.

Никто не догнал ее и не окликнул.

Гастон не пришел.

## 10

*Как нимб, любовь, твое сиянье  
Над каждым, кто погиб любя.  
Блажен, кто принял посмеянье,  
И стыд, и гибель от тебя...*

**Валерий Брюсов**

*La Du Barry, pauvre, vieille belle, pleura sur l'échafaud, criant: «Encore  
un petit moment, monsieur le bourreau!»  
Histoire de France<sup>31</sup>*

Не пришел он и на следующий день. Да ведь он и не обещал, что придет...

Стояли жаркие, душные дни. Настроение в мастерской было истерическое.

Продавщица Элиз упала в обморок перед заказчицей. Манекен Вэра вела себя вызывающе, опаздывала и нагло улыбалась, когда мадам Манель делала ей замечания. Очевидно, она нашла себе другое место и старалась вывести Манель из себя, чтобы та сама ее прогнала. Тогда можно было требовать с нее полагающихся в таких случаях «ликвидационных». Но Манель как будто угадала ее маневр и хотя белела от бешенства, но решительных слов не произносила и была таким сладким ангелом, как бывают только от самой крутой злости.

Мосье Брюнето был неуловим, и в какой фазе находились его отношения с Вэра, определить было трудно. Но это последнее обстоятельство выяснилось, когда Вэра пригласила Наташу провести вместе вечер:

– Мы заедем за вами ровно в девять. Наденьте открытое платье.

«Кто это «мы»?» – подумала Наташа.

«Мы» оказалось состоящим из Вэра и Брюнето. Заехали они уже не в великолепной «Испано»<sup>32</sup> мадам Манель, а просто в такси. Оба были веселы и говорили друг другу «ты».

Поехали в большой ресторан, где обедают с танцами.

Наташе было скучно.

Вэра в счастье своем оказалась очень вульгарна, шлепала Брюнето по щекам, шептала ему что-то на ухо, зажимала ему рот рукой.

Брюнето сидел красный, с блаженно растерянной улыбкой.

С Наташей оба они почти не разговаривали, так что она даже не понимала, зачем ее пригласили.

За столиком, наискосок от них, сидела парочка, на которую все обратили внимание, – дама и кавалер.

Даме было лет под шестьдесят, типа она была английского, дико худа, но с могучими костями, которые точно гремели, когда она плясала, так были голы и страшны. Щеки ее, очевидно подвергнутые эстетической операции, носили легкие следы каких-то не то швов, не то шрамов, густо замазанных белилами и румянами. Через легкое платье обрисовывались все ее маслаки, кострецы, берцовые и прочие кости. Она была страшна. Вообще можно отметить, что безобразно толстые женщины вызывают смех, тогда как безобразно худые, может быть, потому, что напоминают о скелете и о смерти, возбуждают истинный ужас. Над ними не смеются, их пугаются.

---

<sup>31</sup> Бедная старая красавица дю Барри плакала на эшафоте, крича: «Еще минутку, господин палач!» *История Франции (фр.)*

<sup>32</sup> Имеется в виду «Испано-Сюиза» – дорогая марка автомобиля.

Вот так страшна была эта старая англичанка. И казалась еще страшнее от соседства со своим кавалером, худеньким, бледным мальчиком лет двадцати двух, с обиженным лицом и красными веками. На мальчике были кольца и три цепочки на правой руке.

Метрдотель, разговаривая с Брюнетом и видя, что тот смотрит на странную пару, улыбаясь, объяснил:

– Вот сделал карьеру молодой человек. Он был дансером у Сиро. Там пленил эту англичанку, она заплатила все его долги и вот держит его у себя.

– Ну какие у него могли быть долги! – засмеялся Брюнет. – Кто ему давал больше десяти франков!

Наташу непонятно волновала эта пара. Она глаз не могла отвести от старухи, страшной, как похоронная кляча, с которой сняли ее торжественную попону, и от этого обнимающего ее мальчика, бледного, с красными веками, какого-то умученного, смущенного и торжествующего. Похоже было на какого-нибудь циркового «человека-аквариум», который глотает перед публикой живую лягушку. Ему физически противно, и ему стыдно, потому что занятие все-таки не почтенное – зрителей мутит, но он горд, потому что номер исполняет исключительный и деньги за него получает хорошие.

Старуха – та никаких сложных чувств не проявляла. Она была невозмутима, спокойна и совершенно не замечала ни насмешливых взглядов, ни улыбок. Не хотела замечать, потому что все-таки совсем-то уж ничего не заметить было нельзя: настолько многие из зрителей держали себя нагло и развязно.

Старуха танцевала, пила шампанское, поднимая хрупкие бокалы огромной, как грабля, костистой рукой. Кожа на этой руке так плотно обтягивала остов кости, что трудно было отличить, где начинаются пальцы, и казалось, что они растут прямо от запястья... И как она была спокойна – эта страшная женщина, этот скелет человека, умершего от любви.

«Gloire a ceux qui sont morts pour elle!»<sup>33</sup>

И мальчик этот как лунатик. Неужели ему не стыдно? И что-то в нем напоминает... Эти слегка приподнятые плечи, когда он танцует. Может быть, даже и не он отдельно напоминает, а вся эта атмосфера, эманация этой пары, этого джаза, утонченно-чувственного, развратного, как тайное сновидение, о котором никогда никому не рассказывают, и запах духов и вина – все это вместе... нет, не напоминает, а как-то дает нервам «его», Гастона.

И вот – последний блик, которого не хватало... Один из музыкантов, толстый и черный, как жук, встал и, приложив ко рту рупор, запел:

«Ce n'est que votre main, madame!»<sup>34</sup>

– Я очень устала, – сказала Наташа. – Отпустите меня домой!

И Брюнетом и Вэра до невежливости быстро согласились на ее просьбу.

Брюнетом вышел проводить ее и посадить в такси. И когда они уже стояли внизу, к подъезду подкатила большая барская машина, из которой вышел высокий элегантный господин с седыми височками, с розеткой в петличке, в цилиндре и белом кашне и, повернувшись, обождал, пока выйдет из автомобиля его спутник, тоже элегантный, тоже в цилиндре и белом кашне, и, взяв его ласково под руку, прошел в подъезд.

Этот второй элегантный господин был Гастон.

Наташа так испугалась, увидя его, что спряталась за спину Брюнетом.

Почему она испугалась, она и сама не понимала.

Спала эту ночь плохо. Все думала, что если опять Гастон подойдет к ней, то нужно будет непременно рассказать ему, что ее в ту ночь в притоне обокрали, и спросить, знает ли он Любашу, и еще надо рассказать про зеленые отметины на деньгах. Словом, все. Будь, что будет.

---

<sup>33</sup> «Слава тем, кто умер за нее!» (фр.)

<sup>34</sup> «Только ваша рука, мадам!» (фр.)

Но, проснувшись, сразу поняла всю бессмысленность этого решения. Если он в это дело замешан, то, конечно, ни в чем не признается, а просто отоврется и уйдет. Навсегда.

Если не виноват, то может почувствовать, что его подозревают, обидится и уйдет. Результат всегда тот же. Зачем же подымать эту историю, раз она не хочет, чтобы он уходил?

Появился он дня через три, но не на улице, как раньше, а пришел прямо к ней.

Это было в воскресенье, и Наташа только что оделась, чтобы идти в ресторан завтракать.

– А я про вас что-то знаю, – лукаво сказала она. – Вы три дня тому назад были вечером в ресторане с одним пожилым господином.

Гастон сильно покраснел. Это в первый раз видела Наташа, что он покраснел.

– Это неправда, я нигде не был.

– Да я сама вас видела.

– Ах да. Вы... про это... Это один друг моего покойного отца...

– А разве ваш отец умер?

– Нет... Я хотел сказать – покойный друг моего отца.

Наташа стала истерически хохотать, а он даже не понял отчего.

– Милый Гастон! Простите меня. Я вас очень люблю... И не обижайтесь, когда я смеюсь.

Но он, кажется, обиделся.

– Я очень рад, – сказал он сухо, – что вы такая веселая. Я бы и сам смеялся с вами, если бы понимал причину вашего смеха.

«Какой, однако, болван! – подумала Наташа. – Врет ерунду несусветную, да еще и обижается».

Но все-таки ей было неприятно, что он надулся, и она была очень довольна, когда он предложил вместе позавтракать и оживился, рассказывая о каком-то ресторанчике против вокзала Монпарнас, где чудесные и очень дешевые лангусты.

За завтраком он совсем развеселился и обещал пригласить ее в свое ателье.

– Чудесное ателье. Одно из лучших в Париже. У меня там дивный рояль, и я хочу вам сыграть. Сейчас его немножко ремонтируют, это ателье, но на днях все будет готово.

На следующий день он, очевидно, позабыл все, что врал про ателье, и повел Наташу к себе в крошечную комнатку крошечного отеля, около Этуаль. Инструмент, оказалось, действительно у него был, но не рояль – рояль бы и не въехал в его конурку, – а просто пианино.

Кроме пианино в комнате помещались кровать и стул. Даже стола не было. Остальная обстановка состояла из невероятного количества всякого рода башмаков. Их было не меньше двенадцати-пятнадцати пар, и стояли они за неимением места под кроватью на стуле и даже на пианино.

Освободив стул, Гастон усадил Наташу и стал играть. Играл он действительно великолепно.

«Что за чудо! – подумала Наташа. – Оказывается, что он не соврал».

И лицо у него сделалось странное. Точно удивленное. Точно не сам он играл, а с удивлением и восторгом слушал чью-то мастерскую игру.

Но выбор пьес был совсем неладный. После блестяще исполненной прелюдии Рахманинова продребезжал фокстрот, за фокстротом – Скрябин. Потом что-то легкомысленное с неожиданными паузами, во время которых он поднимал обе руки и смеялся, и вдруг снова точно схватывал мелодию двумя руками.

– Это мое, – сказал он.

«Врет!» – спокойно решила Наташа.

Но она была потрясена.

Потрясена тем, что он так великолепно играл, а главное – тем, что он не соврал.

От этого последнего факта ей стало как-то еще беспокойнее с ним, с этим странным мальчиком. Прежде она знала, что он все время лжет, и было уже что-то для нее определенное в

этом облике. Теперь она сбилась. В периодической дроби, которою была для нее душа Гастона, неожиданно появилась новая цифра.



## 11

*Le roi n'a qu'un homme, c'est sa femme.*  
*Mirbeau*<sup>35</sup>

Это был очень странный вечер, вечер, запомнившийся ей надолго.

Перед этим она не видела Гастона дня четыре. И вот – было уже поздно, около двенадцати, и она собиралась ложиться спать, когда в дверь тихо постучали.

Она даже сначала подумала, что ей показалось, так тих был этот стук, но все-таки открыла дверь. За дверью стоял Гастон.

– Я на одну минутку, – сказал он. Вошел, сел, снял шляпу и вытер лоб.

Он был очень бледен. Взглянул на Наташу и странно, по-детски застенчиво улыбнулся. Точно ребенок, который что-то разбил.

– Наташа, – сказал он. – Вы мой лучший друг, мой единственный друг, и вы можете очень мне помочь в одном деле.

Он был такой какой-то расстроенный, что Наташа невольно подняла руку и погладила его по голове. Лоб у него был совершенно мокрый.

Он снова улыбнулся ей тою же улыбкой и продолжал:

– Я вам говорил... я занимаюсь комиссионными делами. Вот мне поручили продать одному покупателю, очень богатому выходцу из... из Аргентины, одну драгоценность. Но дело в том, что покупатель приедет только через неделю, а я боюсь держать эту вещь у себя. Не потому, что... вы не подумайте... то есть просто я боюсь потерять, или ее могут украсть в отеле. Так вот, я хотел вас просить... заложить эту вещь. Понимаете? В ломбарде она будет в сохранности, за нее отвечают. Это все так делают, когда комиссия. Даже имена закладывают.

Он почувствовал, что что-то неладное выходит, и запнулся.

– А почему же вы сами не можете заложить?

– Я не могу... вы дама, вам удобнее, вещь дамская, браслет. И потом, надо заложить сейчас же, завтра утром, как только откроется ломбард, а я с утра буду безумно занят. Я очень вас прошу. Это, может быть, не деликатно, но вы моя подруга... и я тоже для вас все всегда сделаю.

– А у вас найдутся деньги, чтобы выкупить, когда этот ваш... «выходец»-то приедет? И почему у вас все выходцы?

– Деньги? Да вот эти самые, которые мы получим. Я их спрячу и через неделю, когда тот приедет, и выкуплю.

– Ну что же, – решила Наташа. – Давайте ваш браслет, я заложу.

Он бросил беглый взгляд на дверь и вынул из кармана тяжелый массивный браслет без футляра и даже без бумаги.

– Ого, – сказала Наташа, рассматривая изумруды и бриллианты. – Да он, пожалуй, тысяч десять стоит.

– Наверное, – сказал Гастон. – Мне поручено запросить не меньше пятнадцати. Спрячьте его скорее. Я знал, что не ошибусь в вас. Вы – моя подруга. Правда?

Он посмотрел на нее ласково и был такой измученный, что даже глаза закрывал.

– Мы завтра встретимся лучше всего в кафе, – сказал он. – Приходите в кафе «Версаль»... нет, в «Версаль» нельзя. Приходите к Дюпону... знаете? Войдите внутрь и ждите меня за столиком в углу с правой стороны. Спросите себе кофе или что-нибудь, чтобы не было

<sup>35</sup> У короля единственный подданный – его жена. *О. Мирбо (фр.)*

видно, что вы ждете... потому что... это всегда глупый вид, когда ждут. Вы мне там и передайте деньги.

– И квитанцию?

– Н-нет. Квитанцию спрячьте у себя. А теперь я пойду... я еще не обедал.

– Как не обедали? – удивилась Наташа. – Ведь теперь, пожалуй, уже двенадцать...

Он словно испугался.

– Двенадцать? Ай-ай-ай! А я пришел... Могут заметить...

– Вы волнуетесь за мою репутацию? – ласково улыбнулась Наташа. – Ну, знаете, в этом скверном отельчике ничем не удивишь.

– Вы думаете? – спросил он задумчиво. – Так до свиданья. Завтра в семь часов у Дюпона. Не забудьте и не перепутайте.

Он рассеянно несколько раз поцеловал ей руку.

– Вы мне самый близкий человек, – сказал он.

«Странно, что он придает столько значения такому пустяку», – подумала Наташа.

Ее гораздо больше интересовало то тревожно-нежное к ней отношение, которое она вдруг почувствовала в нем. Любит ли он ее? Но ведь ни разу до сих пор он ее не поцеловал, не обнял. Чем это объяснить? И чего вообще хочет он от нее? Денег у нее нет, и, кажется, он даже не находит ее очень красивой. По крайней мере, тогда, в первый день знакомства, восхищаясь ею, он ведь все-таки сразу стал вносить какие-то поправки...

«Нужно желтое розовое для щек... – вспомнилось ей. – Ваш жанр должен быть всегда немножко «чересчур»...»

Да, вносил поправки. Значит, не был так потрясен ее красотой. А между тем – ищет ее общества, ходит за ней.

Он хочет, чтобы она была его «*amie*». У французов это слово имеет определенное значение. Но один раз он как-то сказал «*sorine*»<sup>36</sup>... А это уже другое.

Об этом думала она, засыпая, и только на рассвете, в полусне, между сном и жизнью вдруг почувствовала, как толчок в сердце:

«Этот браслет краденый!»

Но тотчас заснула снова.

Утром, выходя из дому, вынула браслет из ящика стола, куда спрятала его на ночь, долго разглядывала его, стараясь вспомнить что-то очень нехорошее, связанное с этой ночью. Но так и не вспомнила.

«Нехорошее» была та самая мысль, которая на рассвете ударила в сердце.

В ломбарде ждал ее приятный сюрприз: за браслет предложили не пятнадцать тысяч, как она собиралась просить, а сорок пять.

«Хорош комиссионер, – улыбаясь, подумала она про Гастона. – Много он в вещах понимает!»

Ей приятно было, что она обрадует его сегодня, и она с нетерпением ждала вечера и побежала в кафе раньше назначенного времени.

К ее удивлению, он сидел уже там.

– Ну что? – спросил он вполголоса.

– Поздравляю вас! – смеялась Наташа. – Вы удивительно опытный комиссионер! Оцениваете вы замечательно верно.

Гастон посмотрел на нее испуганно:

– Вы, кажется, шутите? Неужели не дали даже десяти?

Ей стало жаль его:

– Успокойтесь, милый мальчик, ваш хороший друг умеет дела делать. Вот – получайте.

---

<sup>36</sup> *Amie, sorine* – подруга (*фр.*).

И она торжественно открыла сумку и хотела вынуть деньги.

– Нет, нет, – вскинулся он. – Потом, потом!.. Здесь неудобно. Вы только скажите сколько.

– Сорок пять!

– Что-о?

Он сильно покраснел и, по-видимому, совсем не обрадовался.

– Ай-ай-ай, – пробормотал он. – Начнут, пожалуй, историю. *Des ennuis*<sup>37</sup>.

– Почему? – удивилась Наташа. – Я думала, что чем дороже вещь, тем больше вы получаете комиссионных.

Он посмотрел на нее с недоумением, видимо, совершенно не понимая, о чем она говорит.

Она снова повторила свои рассуждения. Он поморгал глазами и ответил:

– Конечно, конечно. Но дорогую вещь труднее будет продать.

Он стал очень рассеянным, отвечал невпопад и пошел говорить по телефону. Говорил очень долго и, вернувшись, сказал, что у него разболелась голова и он хочет пойти домой и отлежаться.

Наташа обиделась и загрустила. В головную боль она не поверила, а подумала, что он сговорился с кем-нибудь по телефону покутить на эти неожиданные деньги. И грустно ей было, что она так радовалась весь день, думая, что осчастливит его, и надела нарядную шляпу и белые перчатки – так была уверена, что он поведет ее обедать или в театр. А он даже не поблагодарил за услугу. Она хотела упрекнуть его за неблагодарность – она из-за него опоздала на службу, а он даже чашки кофе не предложил. Но он был такой растерянный, что не стоило и разговора начинать.

На улице он кликнул такси и почти молча довез ее домой. Взял деньги, которые она передала ему, вышел вместе с ней и расплатился с шофером.

«Он, верно, хочет подняться ко мне», – подумала Наташа и, так как была обижена, решила сделать вид, что не понимает его намерения.

– Зачем же вы отпустили шофера? – спросила она. – Не идти же вам пешком, раз у вас болит голова?

– Нет, я поеду, – ответил он. – Только хочу взять там, на углу, другой автомобиль.

Он рассеянно поцеловал ей руку и быстро скрылся.

Наташа стала тихо подыматься по лестнице.

Ловко, нечего сказать.

Вспомнился знакомый офицер, который говорил в таких случаях, пародируя восточный акцент: «Харашо, душа мой? Получил об стол мордом».

«Это все грубо и глупо и, в конце концов, даже скучно. И чего ему от меня надо? Чтоб я закладывала для него какие-то подозрительные браслетки? «Комиссионные»! Наверно, просто краденые. Ведь этак можно легко запутаться в какое-нибудь грязное дело. Нужно быть совсем дурой, чтобы не видеть, что этот молодой человек – весьма подозрительный тип. Если он завтра явится, я скажу ему прямо, чтобы он на меня не рассчитывал и что вообще... я не хочу с ним встречаться. Быть героиней какого-то авантюрного романа я не создана».

Хотелось есть – она ведь так и не пообедала.

«А, тем лучше. *Paris vaut bien une messe*<sup>38</sup>. Осталась без обеда, зато отделалась навсегда от этого прохвоста».

Она была очень обижена и на обиде этой, как на прочном цементе, начала спокойно и холодно укладывать свою жизнь.

---

<sup>37</sup> Неприятности (*фр.*).

<sup>38</sup> Париж стоит мессы (*фр.*).

«Пойду завтра к Шурам-Мурам... Надо возобновить уроки английского... В конце августа поеду в Juan les Pins<sup>39</sup>... Скопирую синюю пижаму сама, сделаю ее в ярко-зеленом...»

---

<sup>39</sup> Жуан ле Пен – курортное местечко на юге Франции.

## 12

*Когда от Канта ушел его старый слуга Лампе, огорченный философ записал в записной книжке: «Забыть Лампе».*  
*Кюнофишер Кант*

*«N'y pensons plus ditelle», – depuis elle y pensa toujours.*  
*Chanson<sup>40</sup>*

«Не надо о нем думать. А чтобы скорее забыть, лучше всего быть с людьми, которые никакого отношения к этому темному типу не имеют», – решила Наташа.

Поэтому визит к Шурам-Мурам исключался, хотя они были очень милые и хорошо действовали на настроение.

Вспомнила о ломбардной квитанции и решила тотчас же отослать ее Гастону. Просто, без всякого письма. Улицу и отель она запомнила хорошо. На обратной стороне конверта написала свое имя и адрес. Отправила.

После этого три дня сидела дома, «не потому, что ждала ответа или телефонного звонка, а просто так».

И это «неожидание» утомило и измучило, как тяжелый труд.

На четвертый день письмо вернулось с надписью «Inconnu»<sup>41</sup>... Очевидно, Гастон жил в отеле под другим именем...

Сидеть и «не ждать» стало совсем невыносимо.

Тогда выступил на очередь план: быть с людьми, не имеющими отношения к темному типу.

Вспомнила о мадам Велевич, вышивальщице, работающей и на мастерскую Манель. У Велевич всегда бывал народ, и все такой, из другого мира: бывшие светлые личности – фанатики воскресных школ и волшебного фонаря, учительницы музыки, переводчицы, рисовальщицы по крепдешину, шоферы и дантисты.

На этот раз за чайным столом сидели, кроме самой хозяйки, пожилой курносо-русской уютной женщины, еще трое.

Одного из них Наташа уже встречала. Это был дальний родственник хозяйки. Очень высокий, светло-рыжий, с выражением ржущей лошади на лице, он давно жил в Париже и смотрел на все российские дела – советские и эмигрантские – с наивным и даже как бы веселым удивлением. Был он когда-то кавалеристом, потом служил в государственном коннозаводстве и, вероятно, благодаря этой лошадиной линии своей жизни получил прозвище в память призового жеребца «Отставной Галтимор его величества».

Кроме Галтимора, были две дамы. Одна – маленькая, ядовитого типа старушонка, в старинном корсете и высоком воротничке, подпертом серебряной брошкой-подковой.

Вторая дама, что называется, средних лет, с пухлым, дряблым, очень бледным и как бы дрожащим лицом, в черном грязном платье. Странная дама. И звали ее необычно – Паллада Вендимиановна. И была она, очевидно, очень строгих принципов, потому что, когда хозяйка предложила ей варенья, сделала отвергающий жест и сказала твердо:

– Ни-ко-гда!

И ясно было, что и под пыткой варенья не съест. На Наташу взглянула с отвращением, искренним и нескрываемым.

---

<sup>40</sup> «Не будем больше думать об этом», – сказала она, думая об этом всегда. *Песня (фр.)*

<sup>41</sup> «Адресат неизвестен» (фр.).

– Ну, что нового у вашей Манель? – спросила хозяйка, усаживая Наташу.

– Ах! Вы служите у Манель! – почему-то обиделась ядовитая старушонка.

– Да, я манекен, – ответила Наташа.

– Так скажите вашей Манель, – продолжала обижаться старушонка, – что она платьев шить не умеет.

– Вот это здорово! – гаркнул Галтимор, заржал и стукнул ногой.

– Да, не умеет. Моя знакомая дама купила себе костюмчик и потом ко мне переделывать принесла. Спину обузили, юбку обузили и запаса в швах не оставили, так что и выпустить нечего.

Наташа вступилась за честь Манель:

– Ваши дамы покупают в больших домах на сольдах<sup>42</sup> платья, которые не на них шиты, а потом недовольны. Платье сшито на тоненькую фигурку, а в него лезет пятипудовая бабища и обижается, что плохо.

– А почему же не оставляют запаса в швах? На материи выгадывают?

Наташа презрительно пожала плечами.

– Запас? В ламэ<sup>43</sup>? Или в прозрачном муслине? И вообще... запас... Это даже смешно. Платье шьется, чтобы его носили, как оно сшито...

– Ха-ха-ха! – веселился Галтимор, переводя вопросительно-веселые глаза с одной собеседницы на другую.

– Ужас! – воскликнула Паллада Вендимиановна, оттолкнула чашку, расплескав чай, откинулась на спинку стула и закрыла глаза.

Все переглянулись.

– Паллада Вендимиановна недавно приехала из России, – смущенно объяснила хозяйка. – И вот все не может привыкнуть к нашей жизни.

– И никогда не привыкну! – истерически крикнула Паллада. – Н-не могу! Задыхаюсь! Разве это люди? Это... ламэ! Ламэ! Где чудеса любви? Чудеса самоотвержения? Восторг муки?

Галтимор оглядывал всех, точно спрашивал – пора ли смеяться.

– Я уже семь месяцев здесь! – задыхаясь и дрожа лицом, кричала Паллада. – И я изнемогаю! Варенье... ламэ! Ха-ха! Ламэ! Люди что-то шьют, работают, получают деньги, едят, спят сколько полагается. Покупают все, что им нужно... Учатся спокойно... Купит книжку и учится. Ха-ха! Где восторг? Где подвиг? Где чудо?

– Позвольте, – вступила ядовитая старушонка. – При чем здесь чудеса? Чудеса в религии, а не в том, что я полфунта сахара куплю.

– Да, у вас – да. У вас так, – совсем бешено отвечала Паллада. – А у нас – чудо на каждом шагу. Петр Никанорыч шел по улице и видел – везут Алавердова и Матохина. Везут арестованных на расстрел. И все, конечно, отворачиваются и делают вид, что не узнают. А Петр Никанорыч поднял руку, перекрестил их, снял шапку и поклонился до земли. Малый подвиг, скажете вы. Нет, великий. Его расстрелять за это могли. За этот поклон, за этот крест он жизнью своей платил. Да, да... Видела я: девочка, маленькая девочка, худая, синяя, несет в черепочке немножко патоки – это ей выдали на паек. Идет осторожно и все на патоку смотрит, как бы не пролить. И вот подходит к ней старушка и говорит: «Девочка, мы с тобой старые да малые, слатенькое любим». Так и сказала: «слатенькое». А девочка говорит: «Что же, бабушка, лизни пальчиком, я для тебя не пожалею». И старушка обмакнула палец и пососала. Конечно, это малое чудо любви. Но я видела голубой свет над ними, над их головами... Голубое излучение...

Лицо у Паллады побледнело еще больше, судорога оттягивала углы рта.

---

<sup>42</sup> Распродажа (*искаж. фр.*).

<sup>43</sup> Сорт ткани. – *Ред.*

– Есть у Мицкевича в «Дядах»... Души умерших детей просят, чтобы дали им горчичное зернышко, потому что не вкусили они при жизни горечи и не могут попасть в рай... Наши дети горчичными зернами вскормлены, а единственный свой черепочек грязной патоки другим отдадут. Да. Церкви закрыты, религии нет. Но звон колоколов невидимо гудит под землей, и сам Христос приходит приобщить умирающих.

– Ха-ха-ха! – свежо и бодро заржал Галтимор так неожиданно, что все вздрогнули. – Вот так большевики! Какой камуфлет! Уничтожили религию и основали фабрику святых! Ха-ха! В ударном порядке, безо всякой пятилетки, лучший завод в государстве, в планетарном масштабе и работает по двадцать четыре часа в сутки? Ха-ха!

Галтимор веселился.

– Нет, действительно, ну на что им церкви? Святым-то?

Паллада, ухватившись за сиденье своего стула, повернулась всем телом прочь от Галтимора.

– Жалею, что говорила перед вами... перед таким... – срывающимся голосом сказала она. Все смущенно молчали.

– А мне гадалка нагадала, что я скоро поплыву на родину, – сказала Наташа.

– Значит, тоже в святые? – не желая сдаваться, вставил Галтимор, но уже не так браво, как раньше. – Такая хорошенькая святая – воображаю, какие толпы будут сбегаться к вам на поклонение!

Ехидная старушонка покосилась на него неодобрительно.

– И все это пустяки, – сказала она. – У нас тоже делают хорошие дела. Сколько угодно. Всякие комитеты и все что угодно. Моей сестре Розенталь пожертвовал швейную машинку. И вовсе он не святой, а просто добрый человек и богатый. И никто не плачет и не умиляется.

Хозяйка почувствовала, что надо и ей как-нибудь вступить в разговор.

– По правде говоря, – сказала она, – у нас действительно большая распущенность. Конечно, я не возражаю, комитеты... Но любви к другу и жалости – этого я не наблюдала.

– Да чего же жалеть-то? – вступил Галтимор. – Наряжаемся, пляшем, ходим по ресторанам. Вот позвал меня вчера князь Чамкидзе, товарищ по полку, в их кабак. Он – метрдотелем. Битком набито, и все почти русские. А ведь цены умопомрачительные. Видел там нашу неувыдаемую Любашу Вирх с какими-то юнцами, дансерами. Тоже профессия – эти дансеры. Существа, грациозно изгибающиеся, между альфонсизмом и уголовщиной.

– Она была с французами? – задохнувшись, спросила Наташа, сама не отдавая себе отчета, почему спрашивает и почему волнуется.

– Нет, с нашими, отечественного производства фруктами.

– Ну, я ухожу, – неожиданно поднялась Паллада и, ни с кем не прощаясь, пошла в переднюю.

– Кликуша! – мотнув ей вслед головой, шепнула хозяйка.

Наташа поднялась тоже. Ей почему-то стало тоскливо и беспокойно.

– И вы? – всполохнулся Галтимор и, внимательно посмотрев на Наташины ноги, предложил ей проводить.

– Вам нельзя идти одной, еще кто-нибудь пристанет.

– И все это ерунда, – вдруг заявила ядовитая старушка. – Ведите себя прилично, так никто к вам и не пристанет. Я постоянно одна хожу. По сторонам не смотрю, иду, и никто никогда ничего себе не позволил.

Галтимор обвел всех недоуменно-радостным взглядом.

– Пойдемте вместе, – сказала Наташа старушонке. Ей не хотелось идти с Галтимором.

– Охотно, – ответила та. – Смотрите-ка, у вас синенькое пальто и у меня синенькое. Подумают, что мы две сестрички.

Наташа рассеянно молчала. Она думала о том, что, куда бы она ни пошла, все равно везде будут говорить о Гастоне. И она была бы очень удивлена, если бы ей объяснили, что о Гастоне, в сущности, не было сказано ни одного слова...



## 13

*Несчастье бросает тень вперед...*  
**Тэффи. «Предел»**

*Все божественной игрою рождено и суждено...*  
**Ф. Сологуб**

Фифиса была маникюрша отменная. К Наташе ходила по воскресеньям: в будни Наташе было некогда.

– Ну, что нового? Давно не видали нашу красавицу? Я про Любашу...

Фифиса даже ножницы уронила.

– Ох, милая моя! Ну и дела! Уж не следовало бы говорить, да вам ведь можно. Была я там третьего дня. Вызвала меня, значит, ногти делать. Ну, пришла я, а самой-то еще нету. Вижу, все благополучно, еврейный лакей двери отпирает, новая собачка бегаёт, хорошенькая, как купидон. Цветов всюду наставлено гибель, по комнатам англичанка ходит, за прислугами смотрит. Ну, значит, все слава богу, взят, значит, американец за зебры.

Ну я, значит, в будуарчике села, инструменты достала – жду. И вдруг неожиданно-негаданно – звонок, является сам фон-барон, а он теперь, я знаю, за городом работает. Ну, поздоровался, он меня любит, «я, – говорит, – Анфиса Петровна, только Люлечку дождусь, меня в город по делу прислали, и нет ли чего пожевать». Ну и предложила я наскоро яишенку сварганить. И так он простодушно сказал: «Сварганить так сварганить». Ну, я живым манером, раз два все ему в столовой на уголок стола поставила – сидит ест. А сама принесла горячей воды, села в будуарчик – жду. И минутки не прождала – влетает моя барынька, веселая, ну прямо купидон. «Живо, – кричит, – Фифиса, я тороплюсь». И не успела она шляпу снять, как слышим – звонок. И вбегает в комнаты, прямо в будуарчик, этот пузан, американский черт. Рожа вся на сторону, губы лиловые, как у медведицы... Не здороваются ничего и прямо: «Я, – говорит, – сам видел, как вы подъезжали и кто вас провожал», – рожа такая наглая. По-французски говорит – баронесса-то по-американски ни кукареку, как и мы, грешные. Баронесса себя сдержала и говорит: «Это что же значит?» – «А то, – говорит, – значит, что вы, верно, стареть начали, что за мальчишками бегать стали». Ведь это подумать только – такой богатый человек и такие простые слова произносит! Тут баронесса спокойно говорит: «Уходите вон и не смейте возвращаться». А он губы распылил и: «Сами позовете!» Подумать только! И ведь ушел! В передней дверью хлопнул. Только погодите, дело-то еще только начинается. Он, значит, дверью хлопнул, а с другой стороны, слышим, точно кто заикается: «А-а-а... а-а-а...» Оборачиваемся – барон! Лицо задрал – одни ноздри, и в бороде кусок яичницы трясется. Хочет что-то выговорить и не может. Ну до того страшно! Я чего-то особенно этой яичницы в бороде испугалась. Последнее, думаю, времена наступили. А баронесса побелела вся, однако смеется: «Грива, Грива, ты чего?» А он все заикается и вдруг: «Кто это у вас сейчас был?» А она, верите ли, растерялась! Ну кто бы подумал! Такая баба умница... Ну сказала бы: «Кто был, того нет» или... мало ли как. А она только «Грива» да «Грива». Тут уж я набралась духу и говорю: «А это, разве не знаете, один тут старичок блаженненький». Тут она немножко в себя пришла и говорит: «Чего ты? Не понимаю. Это нужный человек, он мне помогает на бирже играть». А тот опять за свою волынку: «А-а-а, а о ком он говорил?» А баронесса смеется. «Представь себе, – говорит, – этот старый шут, кажется, в меня влюбился... И во всяком случае, ему, по-видимому, обидно, что я каталась с Верочкой и ее мужем, а его мы в свою компанию не принимаем». Ну и затарантила... Гляжу – он и отошел, улыбаться стал. Потом попрощался и пошел. Все, кажется, обошлось, а тут опять комедь. Баронесса моя глаза закатила, да как завизжит: «Боюсь, боюсь, боюсь!»

Ногами бьет, всю ее корчит... Уж и намучилась я с ней – и водой, и одеколоном, – прямо всю даже ботэ<sup>44</sup> с лица смыла, – потом, как пришла в себя, к Кева звонила, скорее мамзель с красотой прислать. И чего она так – понять не могу. Я уж допытывалась, что не того ли она боится, что американец совсем ушел и деньги унес. Так она даже улыбнулась. «Я, – говорит, – его сама больше на порог не пущу. Уж если человек смел таким тоном заговорить, так такой человек больше никуда не годится. Он как яблоко с червем, не знаешь, как кусить, откуда пакость вылезет». Со мной-то она откровенна, знает, что я никому никогда... Целый день по домам ходишь – мало ли чего наслушаешься, если начать сплетни разносить, тоже хорошего мало.

– Чего же она испугалась? – спросила Наташа.

– А кто ее знает. Мне уж даже в голову пришло – да уж очень как-то невероятно, – неужели она испугалась, что барон что-то понял? Неужто он и впрямь ничего не знает! Тут перед самым его носом такая, как говорится, щепетильная жизнь, и вдруг он ничего не замечает. Воля ваша – поверить трудно. Что ж он, уже совсем идиот, что ли?

– А может быть, так любит, что не хочет видеть? – задумчиво сказала Наташа.

– А если не хочет, так чего же вылез? Чего ноздри раздул? Ну и дела! И до чего же все это было страшно! Ну, думаю, бог с ними и с деньгами. Не пойду больше к ним ни за что, еще в свидетели попадешь. Ну, однако, вчера все как будто утихомирилось. Американец три корзинищи роз приворотил. Она его и на порог не пустила – верно, этого самого червя боится, хю-хю-хю! Ну и дела! Я, между прочим, думаю, что у ней, пожалуй, какой-нибудь другой ерш на прицепе, а то бы так не фыркала...

\* \* \*

Если бы все всё время не говорили о Гастоне, Наташа давно бы его забыла.

Но о нем говорил у Велевич отставной Галтимор, потому что упомянул о Любаше, а у Любаши была стофранковка с зеленым пятном, происхождение которой так и осталось невыясненным. О Гастоне говорила Фифиса, потому что опять-таки рассказывала о Любаше. О Гастоне говорили собственные Наташины руки, потому что Гастон советовал подкрасить ногти...

Внешне жизнь текла обычно и ровно. В мастерской спешно сдавали последние заказы, назначили день для сольд, манекены и продавщицы толковали между собой о каникулах и о том, кто куда поедет.

Манекен Вэра вела себя загадочно, о своих планах никому не рассказывала, но давала понять, что все, может быть, удивится. Мосье Брюнето был погружен в работу по уши. Он непритворно хлопотал, разъезжал, звонил по телефону, рылся в счетах и торговых книгах.

Что касается мадам Манель – то тут появилось нечто новое. Появилась неожиданная почти нежность к Наташе. Она кивала ей головой, улыбалась, любовно поправляла ей локоны и всячески выделяла из общей стаи легконогих девиц. В своей тоске и тревоге Наташа почти не замечала этой лестной для нее перемены. Дело в том, что в мастерской тоже говорили о Гастоне, потому что говорили о дансерах, а о дансерах говорил Галтимор, когда рассказывал, что встретил Любашу. И говорили о ночных ресторанах, и она вспомнила тот вечер, когда увидела его «с покойным другом» его отца.

Она «прекрасно сознавала, что ни капельки в этого типа не влюблена», но он внес в ее жизнь что-то ядовито-тревожное, замутил, как морская сепия, воду ее жизни, и в этой черной воде где-то шевелилось чудовище, которое погубит ее, и она не видела его и имени его не знала, но чувствовала, что оно здесь, и плакала во сне...

Так прошло время. И настал день...

---

<sup>44</sup> От *beaute* (фр.) – красота.

## 14

*Tes pleurs coulaient pour moi,  
ma lèvre a bu tes pleurs.*  
*Anatole France*<sup>45</sup>

*Je t'apporterai un jeune pavot  
aux pétales de pourpre.*  
*Theocrite. Le Cyclope*<sup>46</sup>

– Такая, я тебе скажу, живодерность в них сидит, во всех до единой, в этих ангелах, – то, без которых жить-то нам невозможно!

**Ф. Достоевский.**

**«Братья Карамазовы»**

Она только что пришла из мастерской, когда он постучал к ней в дверь и, не ожидая ответа, вошел.

Наташу поразил его возбужденный, почти безумный вид. Щеки горели, запавшие глаза были красны и лихорадочно томны.

– Я уже два раза был здесь сегодня, – сказал он. – Ходил, ждал перед вашей мастерской и не видел, как вы прошли.

Он вдруг опустился на колени, схватил Наташины руки, прижался к ним лицом и заплакал. Наташа вся затихла и ждала. Ей самой было странно, что вся истерическая тревога последних дней вдруг отошла от нее, и это неожиданное и такое удивительное появление Гастона не взволновало и именно не удивило ее, а, напротив, как-то чудесно успокоило.

Он поднялся, встал рядом с ней заплаканный, как ребенок, с припухшим ртом.

– Наташа! – говорил он. – Вы одна у меня на свете, вы – единственное существо, которое можно и надо любить. Вы не знаете, какие есть подлые, низкие души. Они не успокоятся, пока не сделают из вас негодяя... Нет, этого им мало! Они хотят сделать из вас самого черта, и тогда... тогда отшвырнут его... потому что с ним стыдно показаться, все видят его рога и копыта...

Он снова зарыдал.

Наташа ласково гладила его по голове.

– Вас обидели, бедный мой мальчик? – спросила она.

– Наташа! – бормотал он. – Наташа, полюби меня, удержи меня около себя, не отпускай. Я люблю тебя... Будем вместе с сегодняшней ночи навсегда...

Он плакал и целовал ее солеными от слез горячими губами.

– Я не уйду от тебя сегодня... Ты не прогонишь меня? Я такой несчастный... Я пришел к тебе навсегда... Ты не оттолкнешь меня?

– Нет, – ответила Наташа очень серьезно и грустно. – Нет. Я ждала тебя.

\* \* \*

Уже светало. На улице гремели жестянки мусорщиков. Постукивая глухим звонком, прошел трамвай.

Гастон спал, закинув голову, стонал и метался во сне.

---

<sup>45</sup> Твои слезы текли для меня, мои губы выпили твои слезы. *Анатоль Франс (фр.)*

<sup>46</sup> Я принесу тебе свежий мак с пурпурными лепестками. *Феокрит. «Циклон» (фр.)*

Наташа нагнулась к его лицу. Оно пылало...

«Он болен?»

Она провела рукой по его лбу. Он открыл мутные, красные глаза и со стоном закрыл их снова.

– Ты болен, Гастон?

– Ужасно болит голова...

Она встала, поправила ему подушку, прикрыла его одеялом, села рядом на стул и долго, жадно рассматривала его.

Вот он – этот неведомый и жуткий, так странно вошедший в ее жизнь. И во сне у него то же детское пухлое лицо, рот обиженного ребенка, нежная молодая шея. И вдруг она вздрогнула: на подушке рядом с этим милым лицом лежала его рука, огромная, с далеко отставленным, непомерно длинным большим пальцем.

Рука душителя!

Вспомнила чьи-то слова: «Вы и не знаете, сколько бродит по Парижу всяких извращенных, больных людей, чудовищных эротоманов, садистов, душителей. В таком большом городе им легче спрятаться...»

Что она знает о нем, об этом мальчике? Кое-какие догадки, очень нехорошие... Как могло случиться, что она оставила его у себя? Какое-то наваждение...

Гастон вздрогнул. По лицу его пробежала судорога ужаса, и с невыразимой тоской отчетливо сказал он по-немецки:

– Ich habe Angst, Mama! (Мне страшно, мама!)

Наташа вскинулась, точно это ее позвал он на помощь, охватила обеими руками его плечи.

– Мальчик мой, бедный заблудившийся мальчик! Я не оставлю тебя!

И в этом слове «мальчик мой» определилась, вылилась в него, как в форму, и отвердела ее любовь.

Женская любовь очень отлична от любви мужской. Мужчина почти всегда знает, кого любит. Он, конечно, может преувеличивать достоинства или недостатки любимой женщины, но тот облик, который он любит, есть облик истинный, украшенный или слегка искаженный, но настоящий.

Он любит свою жену или любовницу, Марию Петровну – докторшу, а не Валькирию, или Елену Павловну – актрису, а не «крошечного котеночка». Женщина, если только она не совсем тускла духовно, берет любимого человека как тему, которую разрабатывает сообразно своему свойству любить. Есть женщины, создающие из любимого человека непременно великого героя, будь он при этом хоть аптекарский помощник. Есть – ищущие и находящие рыцаря духа в коммивояжере, исключительно своему скромному делу преданном, есть, наконец, – и это самый горький и самый подвижнический лик любви – любовь к возлюбленному материнская. В форму, создаваемую ею, свободно вливаются и отъявленные негодяи – их остро жаль как заблудших, и люди глупые – глупость умиляет, и ничтожные – ничтожные особенно любимы потому, что жалки и беспомощны, как дети.

Любовь к героям самая яркая, но зато и самая хрупкая. Она с трудом прощает ячмень, вскочивший на глазу героя, его неудачную остроту. Любовь к рыцарю духа, восторженная и чудесная, тоже не очень прочна. Она почти всегда обречена на разочарование. И никакой фантазией не сотрешь карточные долгишки, служебные интрижки и всяческую «смену вех»!

Любовь материнская простит все, все примет и все благословит.

«Мальчик мой!» – сказала Наташа, и обрела себя, и заплакала от боли и счастья.

Она встала, приготовила чай, напоила Гастона. Он молча выпил несколько глотков, взглянул на нее мутными глазами, улыбнулся ласково и жалко и снова заснул.

Пора было идти в мастерскую. Но как его оставить такого?

Попросила коридорного позвонить к Манель и сказать, что у нее грипп.

Целый день просидела она около него, жадно прислушиваясь к его сонному бормотанию. Иногда ей казалось, что она улавливает какие-то нефранцузские слова. Но ничего, кроме той фразы: «Ich habe Angst, Mama!» – так и не расслышала.

Под вечер он пришел в себя, жаловался на головную боль и ломоту.

– Я не могу уйти от тебя, Наташа, я слишком болен.

Она счастлива была, что он не может уйти. Хотела устроить его поудобнее и предложила съездить к нему в отель за бельем и пижамой.

– Нет, туда не стоит, – сказал он. – Лучше съездить на Северный вокзал, там у меня чемодан на хранении. В нем все есть.

Она очень удивилась. Разве он собирался уезжать?

– Потом... – устало сказал он и закрыл глаза.

Вечером он дал ей квитанцию, и она съездила за чемоданом. Оказалось, что он был отдан на хранение еще две недели тому назад.

– Может быть, там окажется какая-нибудь женщина, разрезанная на куски... – посмеивалась Наташа. Посмеивалась, но не было ей ни спокойно, ни весело.

В чемодане, однако, никаких ужасов не оказалось. Было белье, платье и башмаки.

Гастон, полужакрыв глаза, смотрел, как она доставала его вещи.

– Это для любительского спектакля, – пробормотал он вдруг.

– Что – для спектакля? Платье?

– Усы, – ответил он сонно.

Она не поняла, о чем он говорит, и, только вынув все, увидела на дне завернутые в папиросную бумагу маленькие прядки волос. Это были накладные усики.

На другой день он почувствовал себя лучше, надел какую-то невероятную пижаму в синих павлинах, зеленых драконах и золотых цветах, волнующую и знойную, как восточный сон, и сидел на кровати среди подушек томный, как принц из персидской сказки.

Горничная, убирая комнату, лукаво на него поглядывала, и он улыбался ей, и веселые ямочки дрожали около его рта.

– Почему ты держал чемодан на вокзале? – спросила Наташа. – Ты собирался уехать?

– Да, кажется, собирался. Впрочем, нет. Я просто менял квартиру, и так вышло удобнее всего.

Он уже не был экзальтированно-нежен, как вечером. Но был очень ласков и много рассказывал всякой ерунды, которая волновала Наташу.

Рассказывал, что у него был брат Жак, очень дурной мальчик. Когда Жаку было шестнадцать лет, он влюбился в цирковую наездницу и все придумывал, как бы раздобыть денег. Он знал, что к женщинам с пустыми руками не являются.

– И знаешь, что он сделал? Пришел к отцу портной примерять костюм и оставил в передней свою бобровую шапку. Пока он примерял, Жак успел сбегать и заложить эту самую шапку! И никогда никто об этом не узнал, ха-ха-ха!

– А ты же, однако, знаешь, – заметила Наташа и поняла, что брат Жак – это и есть он сам. И потом, много раз слыша о подвигах брата Жака, уже знала, что он рассказывает о себе, но никогда о своей догадке Гастону не говорила.

Через два дня пришлось Наташе пойти на службу. Она боялась, что Манель, обеспокоенная ее долгим отсутствием и болезнью, пришлет какую-нибудь из своих девиц наведаться, и выйдет неловко, если застанут ее здоровую в обществе такого восточного попугая.

Какое милое тепло в сердце – возвращаться к себе, когда знаешь, что тебя ждут!

– Мой мальчик, мой милый, нехороший мальчик!

По дороге забежала в магазин, купила ленты для своего халатика – надо быть элегантной. Купила на обед жареного цыпленка, винограда и вина.

Подходя к дому, взглянула, улыбаясь, на свое окно. Оно было темно.

– Мальчик спит...

Тихонько открыла дверь, повернула выключатель... Комната была пуста. Огляделась: чемодана тоже не было. Значит, ушел совсем. Ни записки, ничего.

– Мосье ушел уже давно, перед завтраком, – ответил коридорный на спокойный вопрос Наташи.

Это спокойствие она очень долго готовила, уткнувшись лицом в подушку.

## 15

*...Qu'importent les trahisons,  
Des lèvres que nous baisons,  
Si ces lèvres sont jolies?..<sup>47</sup>*

### *Французская песенка*

*Соболиное одеяло  
Не согреет мою белу грудь...*

### *Русская песня*

То, что Наташа считала исключительным, и немислимимым, и неповторимым, пришло, и повторилось, и основалось как новый быт ее жизни.

Гастон вернулся через два дня, бледненький, худой.

Это было воскресенье, и Наташа сидела дома.

Он с милой, смущенной улыбкой поцеловал ей руку и прилег на постель, полузакрыв глаза.

– Ты еще болен, Гастон? Зачем же ты ушел тогда? И ничего не сказал? Зачем же ты так делаешь?

– Я почувствовал себя лучше и не хотел больше стеснять тебя.

– Отчего же не оставил записки?

– Ах, терпеть не могу! Я же знал, что скоро приду и что ты будешь рада. Ведь ты рада?

Она была рада...

И много раз приходил он так и уходил всегда неожиданно. И, уходя, не оставлял никакого знака, никакого следа своего пребывания. Он иногда курил, но ни разу не находила Наташа окурка в пепельнице. Неужели он уносил их с собой? Он не написал ей ни разу ни одной записки.

Иногда ей казалось, что его вообще нет на свете, что она сама его придумала.

Приходил, уходил. Иногда оставался у нее по два и даже по три дня, иногда полчаса – и уходил дней на пять.

Так перебоями, как больное сердце, билось ее странное счастье.

Были минуты, о которых она много думала потом, когда наступили беспощадные дни ее жизни. Была одна ночь. Вся в снах, неуловимых и тоскливых. И от тоски этих снов проснулась Наташа и с плачем обняла своего теплого сонного мальчика и по-русски, по-бабьи, запричитала над ним:

– Мука ты моя, любимый мой! Ничего я о тебе не знаю. Откуда ты? Кто ты? Куда тянешь меня? И спрашивать не хочу. И знать не хочу – только больнее будет, потому что все равно уйти от тебя не смогу.

Гастон лежал тихо. Ей показалось, что он что-то понял... Он повернул к ней лицо, бледное в мутном рассвете, и сказал:

– Вы очень нервная, Наташа. Зачем вы плачете? Я знаю, что вы меня очень любите и никогда не оставите и, если нужно будет, поможете во всем. Вы моя настоящая подруга, какая мне была нужна.

---

<sup>47</sup> Что такое измены, если губы, которые мы целуем, – прекрасные губы? (фр.)

И еще вспомнила она свой истерический порыв.

Был душный вечер. Они сидели рядом обнявшись, не зажигая огня. Сладкий и томный запах его духов, всегда беспокойный, к которому привыкнуть нельзя, и тонкий золотистый аромат ветерка, падавший откуда-то сверху, точно это был запах звезд, волновали горько и страстно.

– Мальчик мой, – сказала Наташа.

Она называла его «Госс», выходило что-то вроде сокращения от Гастона.

– Мальчик мой! Хочешь, мы расскажем сегодня друг другу всю свою жизнь, все без утайки. Откроемся друг другу до дна, и это соединит нас. Я никому о себе не рассказывала. Я в первый раз в жизни хочу отдать себя всю. А ты хочешь?

– Да. Хочу, – ответил он равнодушно.

Она крепко прижалась к нему и, закрыв глаза, стала исповедоваться...

– Теперь ты Расскажи мне о себе. Все. Понимаешь? Так же, как я.

– Хорошо, – сказал он, потянулся к столу, закурил и начал:

– Отец мой был выходцем из Америки и женился на датчанке княжеской крови...

Наташа дальше уже не слушала. Она горько смеялась, глотая слезы, гладила его по голове и шептала прерывающимся голосом:

– Да, да, мой мальчик, да... княжеской крови... Я слушаю тебя... рассказывай... да, да!..

Он долго тянул какую-то ерунду о каком-то миллионном наследстве, о какой-то испанской графине, влюбившейся сначала в его отца, потом в него самого...

– Да, да, – повторяла Наташа, сжимая себе горло рукой, чтобы не разрыдаться громко. – Бедный мой, заблудившийся мальчик! Да... да...

И еще вспоминала она разговор в ресторанчике, за завтраком.

День был серенький, спокойный. За окном дрожал мелкий невидимый дождь.

Два красных квадратных француза ели телячьи головы. Меланхолический лакей в грязном переднике смотрел на облака и не отзывался на оклик.

Все было так просто, буднично, бестревожно. И тот ужасный вопрос, который Наташа готовила столько дней и ночей, вдруг прозвенел так спокойно, естественно и просто, что она сама удивилась:

– Скажи, мальчик, у тебя так много всяких знакомых – не встречал ли ты русскую баронессу Любашу Вирх?

Гастон лениво переспросил:

– Кого?

– Любашу Вирх.

– А какая она?

– Немолодая... очень раскрашенная, рыжеватая...

Он пожал плечами.

– Дорогая моя, я столько видал всей этой шушеры, всех этих русских poules<sup>48</sup>, что, право, даже не помню, у какой из них какая рожа. Но имени, которое ты назвала, я, кажется, не слышал. Верно, что-нибудь не особенно значительное.

Они уже заговорили о другом, но Наташе захотелось снова вернуться к той же теме. Слишком долго думала она о ней, слишком много представляла себе этот разговор, чтобы не насытиться вдоволь преодоленным и нестрашным. Так ребенок, долго боявшийся погладить кошку, потом, радостно смеясь, тянется еще и еще.

– Скажи, Госс, ты вообще не любишь женщин этой категории?

---

<sup>48</sup> От poulette (фр.) – курочка (жаргон).



– Проституток? Нет, не люблю, – ответил он лениво. – Это же скучно. Вообще всякое ремесло скучно. Я лентяй, сам не люблю работать и даже не люблю смотреть, как другие работают. Мне за них лень.

– Да, мне тоже казалось, – продолжала Наташа, все не желая отходить от темы. – Мне казалось, что эти продажные женщины неинтересны.

Он улыбнулся странно, как-то снисходительно и в то же время злобно.

– Да, когда они продаются, они неинтересны. В этом ты права. Но если сможешь заставить такую женщину полюбить...

У него голос пресекался, так что он даже дотронулся до горла.

– ...Заставить полюбить, то нет в мире счастья, равного тому блаженству, которое она может дать!

Он чуть-чуть побледнел, словно сразу осунулся, и на лицо его медленно наплывало то выражение удивления и восторга, которое Наташа видела у него, когда он играл Рахманинова.

– Ты... – пролепетала Наташа, – ты... зна... знаешь это?

Он обернулся к ней, точно не сразу понял, кто с ним говорит:

– Я? Нет, нет. Я ровно ничего не знаю.

Этот разговор она потом, в другие дни, вспоминала чаще всего.

\* \* \*

Думая о Любаше, ища ее в жизни Гастона, Наташа не ревновала его, и не ревность заставила ее задать наконец мучивший ее вопрос. Этого горького хлеба она еще не вкусила, он еще хранился где-то на полочке...

Одно волновало ее – все одно и то же: уловить нити, найти, понять, узнать, кто ее любовник. Не для того, чтобы успокоиться – пусть он даже окажется беглым каторжником. Просто хотела из тумана тревог, догадок и подозрений выйти наконец на определенную дорогу и идти по ней с открытыми глазами – на позор, на гибель, но видеть и знать все.

А он приходил неведомо когда, уходил бесследно, как галлюцинация.

После его болезни повелось так, что он сразу ложился, а она хлопотала вокруг него, поила его чаем, бегала за папиросами. Сначала потому, что он действительно был слаб, потом вошло в обычай.

Нехороший обычай.

Люди часто не представляют себе, какое огромное значение в их взаимоотношениях имеет та или другая «обычная поза». Как она отражается в самых тайных глубинах души.

Мужчина, ходящий большими шагами по комнате, заложив руки за спину и круто поворачиваясь на каблуках, какую бы ахинею он при этом ни нес, – он диктует свои директивы, он умница, в том, кто сидит и слушает, – его душевная поза – приниженность, внимание, робкое любование.

Человек лежит на диване и говорит томно:

– Передайте мне, пожалуйста, спички.

Другой идет за спичками, приносит, подает, если уронит – поднимает. Он служит первому, нежному, хрупкому, будь тот хоть девяносто кило весу, с бычьей шеей.

Человек сидит в кресле, заложив ногу за ногу, чуть-чуть этой заложенной ногой покачивает, медленно затягивается папироской, отпятив вбок подбородок.

Другой – вертится на стуле, вскакивает, ерошит волосы, путает слова.

Душевная поза первого: спокойный, мудрый джентльмен, для которого вопрос давно ясен.

А между тем именно сумбурная беспокойная путаница в его тупой башке так поджаривает пятки его умного и дельного партнера.

И не думайте, что дело здесь просто и чисто внешне.

Нет. У нас есть глубокая психологическая привычка искать за формой обычного для нее содержания, и мы непременно должны сделать некое усилие, «дерзнуть», разбить эту форму, отбросить ее, если почуем, что она лжива, и всегда идем на это «дерзание» с трудом и неохотой.

Если вы встретите осанистого старика с великолепной бородой, мудрыми бровями и репутацией крупного общественного или государственного деятеля – как трудно, как до жестокости тяжело будет вам признать, что перед вами просто старый дурак...

Но – довольно об этом.

Гастон всегда валялся. Наташа вокруг него суежилась.

## 16

*L'irritation compose l'atmosphère de toute vie commune, où Dieu n'est pas.*

*Fr. Mauriac*<sup>49</sup>

*L'esprit de la plupart des femmes sert plus à fortifier leur folie que leur raison.*

*La Rochefoucauld*<sup>50</sup>

В мастерской начались новости: манекен Вэра укатила в отпуск, прихватив с собой без спроса несколько платьев и купальных костюмов. Прислала из Juan les Pins довольно наглое письмо, что она это сделала в интересах фирмы, так как будет демонстрировать туалеты на пляже.

Мадам Манель, которая рассчитывала на эти вещи для подготовлявшейся дешевой распродажи, очень расстроилась, а от наглости Вэра даже растерялась.

Когда Наташа рассказала об этой истории Гастону, он деловито задумался и сказал:

– Видишь, как это все просто! Советую тебе сделать то же самое. Мы поедем куда-нибудь купаться, и тебе нужно быть прилично одетой.

– Может быть, тогда лучше попросить у мадам Манель разрешения?

– Ерунда. Если будешь просить – наверное откажет. Можешь ей потом прислать очень любезное письмецо, что, мол, ее туалеты пользуются большим успехом и ты уже набрала много заказов. Она теперь такая ошалелая, что ничего не разберет и еще сама тебя благодарить станет.

– Отчего ты думаешь, что она ошалелая?

– Ну вот! Весь Париж знает. Брюнето с ней разошелся. Бедная крошка страдает – ха-ха-ха! Рекомендуй меня в директора, а? Hein?<sup>51</sup>

– Мне не нравятся такие шутки, – сказала Наташа.

– Тогда я повторю это серьезно. Так тебе больше понравится?

«Почему я так уродливо связала свою жизнь с этим мальчишкой? – думала Наташа. – Он глуп, он нечестен... Зачем мне все это? Если бы я завела просто пуделя, я не была бы так одинока, как с ним».

Гастон, по-детски надув верхнюю губу, старательно подпиливал ногти. Наташа взглянула на него, и бессмысленная жалость, как теплые слезы, залила ее душу.

– Бедный, заблудившийся мальчик. Госс! Отчего ты сегодня такой бледный? Может быть, ты не ел?

\* \* \*

В конце августа Гастон сказал, что должен ехать по делу в Берлин, и предложил Наташе сопровождать его.

– В Берлине я получу деньги, и мы поедем купаться в Остенде. Хочешь? Только сделай махинацию с костюмами, о которой мы говорили. Но не бери ничего вызывающего. Ты должна быть барыней, дамой из лучшего общества. Очень глупо выделывать из себя кокотку – только отпугивать людей.

---

<sup>49</sup> Раздражение является атмосферой всей общественной жизни там, где нет Бога. *Фр. Мориак (фр.)*

<sup>50</sup> Ум большинства женщин служит им больше для того, чтобы защищать их выдумки, нежели доводы разума. *Ларошфуко (фр.)*

<sup>51</sup> Хорошо? *(нем.)*

– Что это ты, точно торговать мной собираешься? – раздраженно сказала Наташа. Он надулся.

– Ты все понимаешь чрезвычайно глупо.

После этого он скоро ушел и не показывался два дня. И за эти два дня Наташа «одумалась». Действительно, к чему эта русская растяпость? Почему, когда Вэра уволокла костюмы, никто ее не презирает и преступницей не считает? В жизни надо уметь изворачиваться. С чем она поедет в Остенде? С одной пижамой собственного производства и буржуазно-пресным полосатеньким трико. Щеголять такой тетенькой рядом с молодым элегантным мальчиком!.. Нет. Риск слишком велик.

Вопрос о костюмах был разрешен быстро и бесповоротно.

На всякий случай она посоветовала Манель в этом году открытой распродажи не делать. Может, раздать кое-что по рукам. Придумала комбинацию: скажет, что сдала выбранные ею туалеты для продажи, а когда вернется из Остенде, возвратит их Манель и скажет, что покупатель не нашла. А может быть, кое-что из платьев и удастся продать по возвращении в Париж через Луизу Ивановну, через Гарибальди.

Гастон все одобрил, но таким тоном, точно удивлялся ее глупости: разве можно, мол, было сделать иначе?

Последнее время с ним было раздражительно скучно.

Стали готовиться к отъезду.

Платья и костюмы отобраны и потихоньку унесены из мастерской. Маленькое сердцебиение, но в общем все сошло гладко.

– Если бы у меня не было такое слабое сердце, мне жилось бы проще.

Прибежала в последний раз Фифиса. Гастон всегда уходил, когда ожидался визит маникюрши. Наташа ценила это как деликатность.

Фифиса, конечно, затарантила, и, конечно, больше всего о Любаше.

– Наша-то баронесса какого ерша себе подцепила! Итальянец, маркиз, мужчина, как говорится, во всю щеку, и молодой, и богатый. Глазища черные, круглые, ровно деревенское колесо, морда желтая, что брюква – а хорош! И всюду свои портреты развесил. Как в переднюю войдешь – огромный, во весь рост, и в шляпе. Улыбается. И в салоне портрет во фраке, и в столовой портрет – сидит на каком-то не то памятнике, не то черт его знает и яблоки кушает. Это, значит, для столовой. Пошла в ванную руки мыть – и там он. В трико на морском песочке. Я уж даже посмеялась баронессе: чего уж так больно много? А она говорит – это он все сам и приколачивал, сам и развешивал. Такой, значит, уж любитель. Жаль – не все углы обошла, а то бы – хю-хю-хю!.. Ох, грехи! Ей-богу, обхохочешься.

– Ну что же, она довольна? – спросила Наташа и подумала: «Может быть, такая-то жизнь и проще, и приятнее...»

– Очень даже довольна. Новый рояль получила, и вместе, говорит, романсы поют. Тот-то ведь, американец с червем, совсем уж Квазиморда был. А тут она мне с улыбкой на ушко шепотком (она ведь знает, что я никому...): «Он мне, – говорит, – нравится». Ну что ж, это хорошо. И человек богатый, и нравится. А то у нашей сестры все больше так, что, как понравится, так, значит, деньги и вытасил...

\* \* \*

Выехали в Берлин как-то безрадостно. Гастон был рассеян, отвечал невпопад. Наташа, усталая и грустная, закрывала глаза и молчала. И даже думать ни о чем не могла. Душа ее свои глаза закрыла тоже.

В Берлине пробыли только сутки. Гастон ушел, едва успев переодеться, и вернулся только к утру.

– Мы сегодня же уедем, – сказал он Наташе. – Поедем в Варнемюнде. Это, говорят, очень хорошенький немецкий пляж. Посидим там дней десять, мне за это время пришлют деньги, и мы сможем поехать в Остенде или Довилль. Хорошо?

Наташа устало согласилась.

## 17

*Heirate mich und sei mein Weib,  
Otilie,  
Damit ich fromm wie du und  
glücklich sei!*

**Н. Heine**<sup>52</sup>

*Грех велик христианское имя!  
Нареци такой поганой твари.*

**А. Пушкин.**

**Песни Западных славян**

Варнемюнде.

Маленький отельчик.

На пляже немцы с детьми, целыми семьями.

Огромные тростниковые кабинки с мешками, с карманами, из которых торчат кастрюльки, детское белье и жирные куски свинятины и гусятины в промасленных бумажках.

Фатер лежит, муттер сидит, дети бегают и ползают – в зависимости от возраста.

У фатера газета и сигара.

У муттер – вязанье.

У детей – лопатки.

Окапывают глубокими канавами свою кабинку, окружают высоким валом из песка, чтобы вечерний прилив не замочил песок под их жилищем.

Какое множество детей! Белые, толстые, сытые. Многие из них послужат потом этим белым сытым мясом будущему благополучию своей родины...

Море голубовато-серое, цвета копенгагенского фарфора... Чайки...

В маленьком отельчике чисто и некрасиво. Пахнет рыбой и салом от всего: от тарелок, от постельного белья и от шерстяных цветов, натканных в бездарные вазочки, украшающие столы.

В холле за бюро – кассирша. Физиономия ее напоминает яйцо, повернутое острым концом вверх. В самом центре – рот. Наверху в узком конце яйца кое-как помещаются маленькие глазки, украшенные собачьими бровями, лоб со взбитыми кудельками и круглый носик. Нижняя часть яйца, огромная и пустая, расплывается и лежит прямо на плечах без малейшего признака шеи, подпертая спереди круглой брошкой с портретом племянника.

Плотно стянутое, твердое, как пробка, туловище и такие коротенькие ножки, что никогда не угадаешь – сидит она за своей конторкой или уже встала. Щеки у нее малиновые с жилками, углы рта сиреневого оттенка.

Рот улыбается редко, но и без улыбки видны чередующиеся зеленые и золотые зубы разной длины.

Фрау Фрош – зовут эту даму.

Наташу она невлюбила с первого взгляда, но Гастон ее очаровал. Впрочем, вероятно, оттого она и невлюбила Наташу, что Гастон ее очаровал.

Фрау Фрош было не больше сорока пяти лет...

Гастон явно кокетничал с ней. Проходя мимо бюро, снимал шляпу несколько раз, улыбался своей смущенной улыбкой, и ямочки дрожали в уголках рта. Иногда Наташа заставляла его в грациозной позе, опирающегося об ее конторку и что-то воркующего.

---

<sup>52</sup> Женюсь, и станет моя жена, Оттилия, набожна, как ты, и счастлива. *Г. Гейне (нем.)*

В бюро стояло разбитое пианино. Он часто присаживался около него и, тихо аккомпанируя, напевал какую-то немецкую песенку:

Du kannst mich wohl verlassen  
Vergessen kannst du mich nie...<sup>53</sup>

И уж, конечно, знаменитое:

Ich kusse ihre Hand, Madame!<sup>54</sup>

Лицо фрау Фрош покрывалось от волнения куриным салом и красными пятнами.

– Я удивляюсь, Госс, – говорила Наташа, – какое тебе удовольствие волновать эту жабу? Неужели не противно?

Гастон смеялся:

– Глупенькая, ты представить себе не можешь, до чего это смешно! Она воображает, что нравится мне, и даже сказала, что ревнует меня к тебе. Ха-ха-ха! Я думаю, если ее поцеловать крепко в правую щеку, так с левой стороны выскочат все зубы! И подумай только, ведь ее зовут Оттилия! Оттилия! Ха-ха-ха! Я ее теперь так и называю.

Наташа пожимала плечами, но вся эта комедия была ей безгранично противна. Противны были ревнивые взгляды кассирши и противно улыбающееся лицо Гастона, когда он, прищуря глаза, напевал чувственным хриплым говорком:

Vergessen kannst du mich nie.

И скучно было.

Публика серенькая, одеваться для нее не стоило.

Семейные немцы.

Скучное, некрасивое море...

Чайки...

---

<sup>53</sup> Ты можешь его покинуть, но не сможешь его забыть... (нем.)

<sup>54</sup> Я целую вашу руку, мадам! (нем., фр.)

## 18

*...Je nage a fleur des eaux...  
Je plonge... La bête fond sur moi,  
la bête... Non, c'est son ombre...*

**Paul Fort**<sup>55</sup>

*...Langoisse réelle doit être  
considérée comme une manifesta—  
tion des instincts de conservati—  
on de moi.*

**Freud**<sup>56</sup>

Гастон часто посылал ее на почту спрашивать письма до востребования, и все на разные буквы, которые он записывал на бумажке и никогда не забывал отобрать от нее эту бумажку и разорвать на мелкие кусочки.

Письма приходили редко. Он их уничтожал тщательно – уходил на пляж, делал в песке ямку и сжигал.

Скучал он, по-видимому, отчаянно, и если не кокетничал с фрау Фрош, то уныло и раздраженно молчал.

Раз как-то сказал Наташе:

– Следовало бы сыграть штуку с этой старой дурой. Я буду ей петь песенки и подзову ее к роялю, а ты подсматривай из-за портьеры, и когда я возьму ее за руки и поверну спиной к кассе – у нее касса всегда открыта, тебе достаточно только протянуть руку, чтобы схватить пачку кредиток... они перетянуты резиночкой – там тысячи две марок...

– Ты с ума сошел! – холодно сказала Наташа. – Мы еще начнем деньги таскать, того не хватало.

Но она и не удивилась, и не рассердилась. Она даже обрадовалась, потому что наконец поняла игру Гастона с кассиршей. То раздражение, почти ревность, которое она испытывала, видя его все время с фрау Фрош, угнетало ее и беспокоило, и унижительно. Теперь все стало ясно.

– Я был уверен, что ты и на это неспособна, – сказал Гастон. – Это была шутка с моей стороны. Но ты и шутить не умеешь. Ты олицетворенная хандра. С тобой очень тяжело.

Наташа испугалась его слов, не знала, что сказать, не умела повернуть в шутку ответ и не смела заговорить серьезно.

Он встал и искусственно спокойной походкой вышел из комнаты. Тогда она вскочила и стала прислушиваться – не пошел ли он к кассирше, но тут же увидела его через окно. Он шел с папироской в зубах по направлению к купальням.

Вечером они оба делали вид, что забыли размолвку.

Он, впрочем, кажется, искренне забыл.

– Здесь есть один довольно приличный отель «Павильон», – сказал он. – Я сегодня зашел туда посмотреть публику. Много иностранцев... Пойдем туда обедать. Может, заведем какое-нибудь интересное знакомство.

На другое утро план несколько изменился: пойдет обедать Наташа одна. Так с ней скорее заговорят. Потом, если дело того стоит, она представит Гастона как случайного знакомого.

---

<sup>55</sup> Я плыву к цветку вод Я погружаюсь... Зверь кидается на меня... Нет, это только его тень. П. Фор (фр.)

<sup>56</sup> Настоящее тревожное состояние должно рассматриваться как проявление инстинктов самосохранения. З. Фрейд (фр.)



Одеться Наташа должна элегантно, но не вызывающе. Должна быть дамой из хорошего общества.

Гастон оживился, разрабатывая план, как очаровать богатого американца и занять у него денег, был так мил и ласков, что Наташе захотелось отнестись ко всей этой затее как к забаве. Действительно, кончится тем, что она своим вечно нудным настроением окончательно расходит Гастона.

Вечером он сам выбрал, какое Наташе надеть платье, оглядел с ног до головы и зааплодировал:

– Прелесть!

Суетился, смеялся.

Проходя мимо бюро, Наташа надменно улыбнулась на негодующий взгляд кассирши.

Гастон вышел вместе с ней, но шел по другой стороне улицы, лукаво и весело на нее поглядывая.

Наташа шла своей манекенной походкой. Ей вся эта затея начинала казаться действительно забавной шуткой. Правда, шуткой не высокого тона, да, в конце концов, не она ее выбрала, как и всю эту свою жизнь. Сейчас весело – слава богу.

Публика оказалась не очень интересной. За одним столиком обедали на террасе под оркестр три деловых немца, горячо говорили, тыкая пальцами в какой-то контракт. За другим – пожилая чета северного типа, шведы или датчане. Но за соседним столиком, прямо лицом к Наташе, сидел солидный господин, до смешного похожий на гигантскую рыбу. В профиль лицо его представляло правильный отрезок круга: очень покатый лоб, слегка расплющенный и потому ровно продолжающий покатую линию лба нос, той же линией загибающаяся верхняя губа, и все заканчивалось ртом, потому что подбородка почти не было, он как-то вливался в воротник, и кончено. Брови чуть намечались удивленной желтоватой полоской. Стекла пенсне, такие толстые, что казались кусками льда, прикрывали глаза. Стекла какой-то особенной гранки: при повороте вдруг показывался огромный круглый серо-голубой глаз с желтым ободком. Потом снова ледяной блеск, и глаза не видно.

Общий облик этого господина был вполне джентльменский, и, судя по тому, как почтительно извивался перед ним метрдотель, он был, вероятно, клиентом богатым. Из серебряного ведерка на его столе торчало золотое горлышко шампанского.

«Как раз то, что нужно», – подумала Наташа и спустила грациозно манекенным движением мантию с правого плеча.

Смотрит он на нее или нет?

Из-за этих стекол ничего не поймешь. Но раз ей показалось, что он, вливая в свой рыбий рот бокал шампанского, смотрел на нее и, ставя бокал на место, чуть-чуть наклонился.

Наташа ответила легкой улыбкой, повернулась в профиль и подняла глаза к небу.

Вечер был тихий – прелестные облака над морем, розовые: перистые, как опавшие крылья ангелов, горели сладостно и безбольно.

«Отчего я так редко смотрела на небо? – подумала Наташа. – Надо будет как-нибудь показать такое небо Гастону. Поймет ли он?»

Гастон уже повидал всех здешних куаферов и маникюрш и даже разыскал, несмотря на безвкусию местных магазинов, красивый летний галстук, но неба еще не видел ни разу...

Она глубоко задумалась и сидела меланхолично-нежная, розовая в сиянии вечера.

Джентльмен-рыба встал и долго стоял, уставя на нее толстые льдины своего пенсне. Когда она наконец повернула голову, он низко ей поклонился и вышел.

Гастон остался доволен первым опытом.

Он подждал Наташу на дороге, и они вместе весело дошли домой; веселился, собственно говоря, один Гастон. Душа Наташи осталась разнеженной сладкой печалью вечернего неба.

Утром пошли купаться, вернее, искать джентльмена-рыбу на пляже. Искала Наташа. Гастон следил издали, да он и не мог помочь, потому что не знал того в лицо.

Наташа искала долго и, как часто бывает, нашла, уже потеряв всякую надежду найти. В том месте пляжа, где сосредоточены были всякие приспособления для прыжков и ныряния, собралась целая толпа купальщиков, кричала, визжала и аплодировала.

Наташа подошла и сразу увидела, что центром внимания был ее вчерашний незнакомец.

В сером купальном трико и сером же каучуковом шлеме он еще больше был похож на рыбу, а фигура с большим длинным животом и короткими ногами была уж совсем какая-то лосось.

Он был героем пляжа, потому что проделывал самые невероятные штуки. Плыл под водой минут по десять, нырял и выплывал так далеко, что никто не хотел верить, что это он там выкинул руку и приветствует зрителей.

Все, особенно мальчишки, были в восторге.

– Вы не знаете, кто это такой? – спросила Наташа.

– Не знаем, – отвечали ей, – кажется, какой-то голландец.

– Наверное, профессиональный пловец, – догадывался кто-то.

Наконец герой вышел на берег, полежал минутку на песке, повернулся и, увидев Наташу, сейчас же вскочил и жестом пригласил ее поплавать.

Жест был такой: он слегка склонился и вытянул обе руки вбок по направлению к морю. Все было вполне естественно и просто, но Наташе стало от этого приглашения, от этих вытянутых к морю рук как-то тоскливо и жутко. Она неохотно подошла. Обернувшись, увидела улыбающееся лицо Гастона и прыгнула в воду.

Джентльмен-рыба был уже в воде, плыл вперед и все делал пригласительные жесты. Потом вдруг исчез.

Наташа сейчас же повернула к берегу. Ей почему-то показалось, что он схватит ее за ноги и утопит.

Но джентльмен неожиданно вынырнул перед самым ее носом, когда она уже почти доплыла до берега, и снова сделал пригласительный жест, увлекая ее в море.

Но она вышла на берег и легла на песок.

Сердце у нее часто и неровно колотилось.

«Мне вредно купаться», – подумала она.

Но Гастону о сердце не рассказала.

«Он подумает, что я уже совсем старая и больная».

На другой день она принесла Гастону с *poste restante*<sup>57</sup> толстое письмо, очень его обрадовавшее. В письме было триста марок.

Он стал реже беседовать с кассиршей и, казалось, весь ушел в забаву с джентльменом-рыбой.

Знакомство с ним шло не очень-то быстрыми шагами. Он ни на одном языке, кроме голландского, не говорил.

Гастон навел справки. Ему сказали, что это богатейший промышленник. Дело было подходящее.

Вечером, в день совместного купанья, Наташа нашла около своего прибора букет роз.

– От кого это? – спросила она у метрдотеля.

– Хер ван Фиск, – отвечал тот, слегка улыбнувшись, и почтительно указал всем телом в сторону голландца.

Тот приподнялся и поклонился.

На следующий день купались снова вместе.

<sup>57</sup> До востребования (*фр.*).

И снова у Наташи болело сердце от усталости, от отвращения и страха.

## 19

*J'aime ton coeur inhumain,  
Tu me trahiras demain,  
Mot, ce soir...*  
*Stances a Manon*<sup>58</sup>

Чтобы скорее двинуть дело, было решено, что Наташа будет иногда ходить завтракать в отель «Pavilion».

– Деньги пока что есть, – смеялся Гастон. – Я субсидирую предприятие.

За завтраком голландец послал ей бокал шампанского.

В тот же день она принесла Гастону с почты письмо с французской маркой.

Он был дома.

Письмо было недлинное, но он читал его без конца, медленно переворачивая. Думал о чем-то и снова читал.

Наташа из деликатности обыкновенно отходила в сторону, когда он распечатывал свои письма, но теперь, удивленная, что он так притих, она взглянула на него:

– Мальчик! Что с тобой?

Эта серая землистая маска безнадежного отчаяния так не годилась для его пухловатого детского лица, что, сама по себе страшная, она пугала еще больше от этого несоответствия.

Он весь был придавлен. Он даже согнулся...

Она бросилась к нему, хотела его обнять, но как-то не посмела. Что-то такое огромное, совсем чужое, совсем неведомое наложило на него сейчас свою руку... И просто, по-прежнему, уже нельзя было подойти к нему.

Он медленно, глядя куда-то мимо Наташи, стал рвать письмо на мелкие кусочки, собрал лоскутки в конверт, сунул в карман и встал. Наташа заметила, что один крошечный обрывок упал на пол. С отчаянно забившимся сердцем, точно сознательно совершая гнусное преступление, она наступила ногой на этот обрывок.

Знать! Знать! Знать!

Он медленно пошел к двери, тихо, точно с трудом, открыл ее и вышел.

Наташа застыла, крепко, до судороги нажимая носком башмака на обрывок письма.

Вот он прошел мимо окна... Ушел на пляж сжигать свою тайну.

Наташа подняла бумажку. Руки так дрожали, что трудно было разобрать буквы.

На одной стороне лоскутка стояло: «...le l'aime...» И пониже – слово «jeune»<sup>59</sup>.

С другой стороны – «...fini, mon vieux»<sup>60</sup>... и пониже – «faut renon...»

Наташа закрыла глаза.

Письмо было не деловое...

Что такое «...le l'aime»? Крошечная черточка, отходящая от первого «l» влево, по-видимому, соединяла его с другой буквой в одно слово...

И вдруг – совершенно ясно, ясно до радости, до ужаса: это «le» – вторая половина слова «elle». «Elle l'aime». «Она его любит». И потом, очевидно, в следующей фразе, «jeune». А на оборотной стороне, по-видимому, уже умозаключение и советы писавшего. Потому что что другое могут значить слова: «faut renon...», как не «faut renoncer»? – «Надо отказаться».

<sup>58</sup> Я люблю твое бесчеловечное сердце, ты меня предашь завтра, я тебя – сегодня вечером... *Стансы для Манон (фр.)*

<sup>59</sup> Молодой (фр.).

<sup>60</sup> Конец, дружище (фр.).

Наташа так и застыла с этим лоскутком в руках. И если бы Гастон сейчас вернулся – она все равно не разжала бы руки, не спрятала бы этот драгоценный документ.

«Что это значит? Кто «она»? Она любит молодого... надо отказаться...» И вдруг мысль хитрая, неприкрашенно лживая:

«А может быть, это все-таки деловое письмо? Может быть, было затеяно какое-нибудь темное дельце, от которого надо отказаться. А слова «она его любит» тоже касаются какого-нибудь жулика, которому доверяет намеченная к облапошению богатая американка. Ничего в этом невозможного нет. Ровно ничего».

И вдруг... душа вскрикнула:

«Так отчего же это так убило его? Нет, это не то, не то. Как он согнулся, сломился весь... Нет! Удар был нанесен в сердце».

Ей стало страшно. Где он? Бедный, заблудившийся мальчик! Он сидит один на берегу. Он все равно не даст подойти к себе, но пусть видит, что она и в этом позорном для нее горе (от другой женщины идет оно!) с ним.

Она скрутила бумажку, засунула ее в палец перчатки и бросилась за Гастоном.

Но, выйдя в холл, остановилась пораженная: он уже вернулся, стоял, опершись локтем о бюро и, нагнувшись к самому лицу кассирши, шептал ей что-то. Он держал ее за руку, и немка, обернувшись на стук Наташиных каблуков, вдруг страшно смутилась и отдернула руку. Прежде она никогда не смущалась так, почти до испуга.

– Ты на пляж? – спокойно спросил Гастон. – Иди, иди, я сейчас приду тоже.

Она пошла на пляж. Но он не пришел.

## 20

*Злодей тут усмехался  
И расправлял усы,  
Надел свои перчатки  
И смотрит на часы...*

### *Старинный романс*

Вечером Гастон сказал ей, что ему придется ненадолго уехать:

– В Копенгаген.

– В Копенгаген?

Это слово было ей приятно. Она боялась услышать «Париж».

– Очень ненадолго. И на этот раз я рассчитываю на полную удачу, так что можно будет сразу же ехать в какое-нибудь шикарное место. Лето кончается – надо торопиться.

– А я не могла бы поехать с тобой?

– Вот уж не стоит. Я буду бешено занят, и со мной будут разные дельцы, с которыми мне не хочется тебя знакомить.

Наташа смотрела на его неестественно бледное, постаревшее и подурневшее лицо и с удивлением думала: отчего же он не плачет?

Ей казалось, что он в минуты горя непременно должен плакать. Впрочем, ведь уже один раз плакал, тогда... в тот вечер. Может быть, действительно у него деловые неприятности?..

– А ты за это время займись как следует твоим голландцем. Чтобы к моему возвращению он был влюблен как тигр! – шутил Гастон и улыбался мертвыми губами.

– Когда же ты думаешь ехать?

– Завтра.

Послали за бельем к прачке, купили на дорогу клетчатую кепку, пошли купаться. Но Гастон не смог войти в воду.

– Мне холодно, – сказал он.

Он был как больной. Вечером он сказал Наташе:

– Я рассчитываю вернуться дней через шесть. Но если и придется задержаться немножко – ты не беспокойся.

И знай, что я заплатил за комнату вперед за две недели.

Наташа не почувствовала благодарности за его милую заботу. Она почувствовала только тревогу от слов «две недели». Значит, может случиться, что разлука растянется на две недели.

– Ты хочешь, чтобы я писала тебе?

– Ну конечно. Пиши до востребования на буквы Л. Д.

– Л. Д.?

– Да, да. Л. Д. Я тоже буду писать.

Вечером Наташа отказалась идти в ресторан «на работу». Побродили по берегу.

Вечер был неизъяснимо тоскливый. Маяк бросал таинственные сигналы кому-то в далекие туманы. Два коротких луча, один долгий. И опять – два коротких, один долгий. Настойчиво, упорно. И не ждал ответа...

– Значит, ты будешь писать мне? – снова спрашивала Наташа.

В береговом кафе играл оркестр. Колыхались несколько пар.

Гастон и Наташа, не сговариваясь, пошли на свет и музыку.

Сели за столик.

– Хочешь? – спросил Гастон и привстал. Он звал ее танцевать.

Немного удивленная, она положила руку ему на плечо.

«Как он изумительно танцует! Точно профессионал», – вспомнила она свое первое впечатление.

Лицо у него было очень бледное, как, впрочем, и весь этот день, с той минуты, как он прочел письмо. Глаза полузакрыты, губы чуть-чуть шевелились, точно он говорил что-то.

«Он не со мной танцует, не со мной, не со мной!»

Наташа улыбалась и двигалась как автомат.

«Как все это странно! – думала она. – Почему я не могу спросить у него, о ком он думает? Он, конечно, не ответит, но с моей стороны гораздо естественнее спросить, чем делать вид, что считаю все благополучным и верю ему. Точно меня нанял кто-то роль разыгрывать».

Ночью она не спала.

Под утро увидела мутное море и джентльмена-рыбу, который, вытянув обе руки вбок и почтительно склонив свою плоскую голову, делал пригласительный жест.

Русские мальчики приплясывали на берегу и поддразнивали Наташу, напевая:

Полюбила рыбу-судачину,  
Принимала рыбу за мужчину.

И, проснувшись, она все еще как будто слышала их голоса и смех.

Сон дурацкий и, пожалуй, даже веселый, а потянувшись от него тоска, как туман, на все утро.

Гастон быстро уложил вещи, отвез их на вокзал и, вернувшись снова, долго шептался с кассиршей.

«Не обокрал бы он ее на прощанье», – спокойно подумала Наташа.

Такая мутная боль наполняла всю ее душу, что эта безобразная мысль была даже приятна. Ведь это было нечто простое, бытовое, реальное. Люди живут во всякой жизни. Счастливые в хорошей, несчастные – в дурной. Но в подозрениях, догадках, трепетах и снах, когда они составляют весь быт и уклад, жить нельзя.

Гастон предложил позавтракать в каком-нибудь ресторанчике, а потом он один пойдет на пристань. Наташа не должна его провожать. Он этого не любит.

– Хорошо, – покорно согласилась Наташа. – Я буду с пляжа смотреть на твой пароход.

Завтрак прошел напряженно и скучно. Гастон был рассеян. Наташа все складывала в уме разные фразы, которые произнести не решалась.

Наконец она сама сказала:

– Надо торопиться, мальчик, ты опоздаешь.

Тогда он встал, поцеловал ей руку, потом, точно вспомнив что-то, поцеловал в губы.

– Ну вот. Я пойду. Не скучай, ведь это ненадолго. Пиши мне в Копенгаген, до востребования, Р. Т.

– Р. Т.? – удивилась Наташа. – Ведь ты вчера сказал, что на Л. Д.!

– Ну да, на Л. Д., – ответил он рассеянно.

И она поняла, что ее письма ему не нужны.

Они вышли вместе.

– Можно мне проводить тебя до угла?

– Хорошо.

На углу он остановился, снова поцеловал ей руку и, сделав приветственный жест, совсем чужой, быстро, не оборачиваясь, пошел вдоль улицы.

## 21

*Elle commençait de savoir que les absents sont toujours raison.*  
*Fr. Mauriac*<sup>61</sup>

Поэты, писатели, психиатры и многие прочие знатоки человеческой души убеждены и других убеждают, что для тяжелого настроения и даже для глубокого горя лучшим средством, утишающим страдания, является природа.

Природа говорит о вечности. А мысль о вечности (так считают эти знатоки) очень приятна для скорбной души. Поэтому, например, принято скучающего миллионера отправлять в далекие путешествия, конечно в сопровождении врача, снабженного термометром и машинкой для измерения давления крови.

Миллионер долгие дни смотрит на беспредельное море и долгие ночи созерцает безначальность и бесконечность небесного свода, и окрашивается его тоска этой жестокой даже для здоровой души ужасающей и неприемлемой вечностью.

Обыкновенно миллионер путешествия своего до конца не доводит. «Обманув бдительность врача», он бросается в море.

Еще считается полезным указать страдающему на то обстоятельство, что и он и его горе в сравнении со страданиями всего человечества – ничтожество и мелочь.

Унизить человека это, конечно, может. Но почему могло бы успокоить?

Или, может быть, раздавливая каблуком таракана, было бы гуманно объяснить ему, что слону в его положении приходится гораздо тяжелее?..

\* \* \*

День был мутный.

Тусклое море дымно сливалось с небом, и долго две серые продолговатые соринки стояли недвижно не то на море, не то на небе. И которая из них была пароходом, увозившим Гастона, Наташа не знала.

Потом она повернулась и пошла домой.

Без Гастона комната стала большой, пустой и странно тихой. Наташа огляделась, точно видела эту комнату в первый раз. Выдвинула ящик стола. Пусто. Там долго валялась его сломанная запонка. Теперь она исчезла.

Наташа быстро оглянула стену у кровати: неделю тому назад она пришилила туда портрет Гастона. Фотограф на пляже прицелкнул их вместе «кодаком», когда они выходили из моря. Наташи почти не было видно, но Гастон вышел хорошо. Карточка эта висела еще вчера. Сейчас ее не было.

Впрочем, он ведь всегда исчезал так. Бесследно. И это не мешало ему возвращаться.

Целый день пролежала Наташа в постели, почти не меняя позы.

«Он был во всем прав, – думала она. – Нужно удивляться, что он меня не бросил. А он не бросил, потому что даже заплатил из своих денег вперед за комнату. Это мило, это нежно и деликатно. Но ему скучна жизнь со мной. Он – это ясно – искатель приключений. Он звал меня с собой в свою интересную, пеструю жизнь. И так осторожно звал, ни к чему не принуждал... Я мокрая курица. Кислятина. Русская растяпа. Размазня... Как он оживился, когда я согласилась подурить с этим рыбьим голландцем! И чего, в сущности, я хочу? Чтобы Гастон поступил на

<sup>61</sup> Она начала понимать, что отсутствующие всегда правы. *Фр. Мориак (фр.)*



место, скажем, рассыльного у Манель?.. На тысячу франков жалованья? Стал бы маленьким приказчиком?.. Какая ерунда!»

И она представила себе жизнь, ту, на которую Гастон звал ее. Уголовный фильм, авантурный роман. Она его спасает... ночью подплывает на лодке... они ползут по крыше... она его, раненного, мчит в автомобиле... Они танцуют на пышном балу, все любят ее, и он гордится... А под утро она подает сигнал... Добыча – два миллиона. Переодетые странствующими музыкантами, они переходят границу...

Она так и пролежала до утра, не раздеваясь, сжавшись комком, в снах, полуснах.

Утром встала рано и пошла, но не к морю, только не к морю, не к безднам, не к ангельски розовым зорям. Нет, инстинкт еще вел ее к жизни, и она пошла бродить по улицам курортного городка, смотреть на витрины магазинов, разглядывать ерунду: бусы из горного хрусталя, перстенечки из кровавика, сережки из какого-то мутного камня, неделикатно положенные рядом с огромной подставкой под чернильницу из того же материала, что явно свидетельствовало о его нередкости и недрагоценности.

Рассматривала вязаные кофточки, купальные костюмы и шапочки, все грубое и некрасивое и, на ее изысканный вкус парижского манекена, даже смешное...

В ресторан «Pavilion» ей идти не хотелось. Она чувствовала себя усталой и увядшей. Надо сначала хорошенько отдохнуть.

Гастон вернется в худшем случае через две недели, потому что заплатил за две недели вперед. Ну а за эти две недели голландец будет уже привязан на веревочку. Только сначала надо отдохнуть.

Вернувшись домой, увидела подsunутое под дверь письмо. Сердце так стукнуло, что она не сразу нагнулась поднять.

Но конверт был запечатан и заключал в себе просто отельный счет.

– Это они для порядка. Немецкая аккуратность.

Проходя мимо конторки, старалась не глядеть на фрау Фрош. Но чувствовала на своей спине ее острые злые глаза. Жаль, что здесь заплачено вперед, а то она могла бы переехать в другой отель. Но с другой стороны, эта жаба Оттилия, наверное, скрыла бы ее адрес от Гастона.

Прошел день. Прошли дни.

Она ходила на почту. Спрашивала письма на свои буквы и на свое имя.

Чиновник перебирал нетолстую пачку.

Она уже знала это синее письмо, которое никто не требует, повестку, газету, бандероль...

– Nichts<sup>62</sup>.

Как-то, подходя к почте, увидела фрау Фрош. Она как раз выходила оттуда. Шла с пустыми руками, растерянная, и Наташу не заметила, хотя встретились они нос к носу. Наташа была поражена выражением ее лица. Это было такое тупое, бессмысленное отчаяние, которое, переводя на звук, можно было бы сравнить с ослиным криком. Выражение лица фрау Фрош было отчаянное, как ослиный крик.

Она быстро, неровной походкой пошла по направлению к отелю.

– Ждет писем от Гастона! – злобно засмеялась Наташа.

Ей стало противно, что вот она так же, как эта жаба, идет на почту и так же, как она, письма не получит. Может быть, и у нее самой такое же выражение лица?

Она посмотрела вслед фрау Фрош. Первый раз видела она ее на улице. Ввинченная в плечи голова, коротенькие ножки, тугое, словно из пробки, несгибающееся туловище, обтянутое бурой вязаной кофточкой... Бежит на службу...

– Жалкая!

---

<sup>62</sup> Ничего (нем.).

Но Наташе не хотелось позволять себе пожалеть кассиршу. В этой жалости чувствовалась какая-то для нее самой опасность...

Проходя мимо бюро, она нарочно смотрела в сторону. Но фрау Фрош сама окликнула ее.

– Вам уже два раза подавали счет, – сказала она. – Будьте любезны уплатить, наш отель кредита не делает.

И она, торжественно подняв коротенькую ручку, указала на соответствующий плакат на стене.

Наташа удивленно подняла брови.

– Позвольте, – сказала она холодно. – Но ведь мосье Люкэ, уезжая в Копенгаген, заплатил за две недели вперед, а прошло только шесть дней со времени его отъезда.

Наташа теперь близко видела лицо кассирши. Как оно изменилось! Толстые щеки как-то гнусно отмякли и обвисли, как коровье вымя. Портрет племянника переехал к левому уху. Значит, ворот стал широк и она перетягивала его. И Наташа с омерзением поняла, что Фрош похудела...

– Уплатил за две недели? – злобно переспросила кассирша. – У вас в таком случае должны быть наши расписки. Будьте любезны показать.

Теперь рот ее растянулся и выпустил ряд золотых и зеленых зубов разной величины.

– У меня нет расписок... Он, очевидно, забыл их передать мне!.. или просто верил в вашу порядочность. Он на днях вернется из Копенгагена, и все выяснится.

– Х-ха! – сказала Фрош. Не засмеялась, а именно только сказала. – Х-ха! Почему он вернется из Копенгагена?

Наташа смотрела с недоумением.

– Почему он вернется из Копенгагена? – повторила Фрош. – Когда он вовсе не туда поехал. Наш слуга был на вокзале и слышал, как он покупал билет Гамбург – Париж. И видел, как он сел в гамбургский поезд. Ловко он вас надул.

Она помолчала, с любопытством рассматривая Наташино лицо.

– А какое вам дело до того, где он находится? – спросила Наташа.

– А какое мне дело? – задохнулась Фрош, и щеки у нее задрожали. – Если мне нет дела, то вы, очевидно, берете на себя уплатить мне пятьсот марок, которые ваш друг взял у меня взаимнообразно, – расписка у меня есть!

– Ах, вот что вас волнует! – презрительно сказала Наташа, точно кассирше следовало волноваться какими-то другими высшими мотивами.

– За комнату я, конечно, заплачу, – продолжала она все с тем же презрением. – А вопрос о своем долге он, конечно, урегулирует, когда вернется. Можете успокоиться.

И она с достоинством вышла.

## 22

*La souffrance, prolongement  
d'un choc moral impose, aspiré à changer de forme.*  
**Marcel Proust**<sup>63</sup>

Есть души, для которых слезы как увеличительные стекла: мир, видимый ими через эти стекла, всегда огромен и ужасающ в своем безобразии.

Те мелкие детали, которые обычному взору представляются почти украшением, потеряв свои нормальные размеры, давят и пугают. Кто видел под микроскопом очаровательнейшее создание божие, символ красоты земной – бабочку, тот никогда не забудет ее кошмарно-зловещей хари. Пленкой «маловиденья» преображен для нас мир чудовищ.

Завыли по ночам сирены. Безднадежно и жутко. Предупреждали кого-то в далеких морях, а тот или не слышал, или не понимал, потому что вой возобновлялся еще и снова и, казалось, уже не предупреждал, а оплакивал.

Безднадежно!

И маяк настойчиво бросал свои лучи – два коротких, один долгий, настойчиво, хотя уже было ясно, что никому он не нужен и никого не спасет.

Но откровеннее и наглее и сирен, и маяка рассказал обо всем страшный ночной сигнал – три красных фонаря, поднятых на береговую мачту. Она увидела их, выйдя из кинематографа, куда забрела случайно. Жиденькое желтое освещение в подъезде этого кинематографа держалось близко, дальше входных ступенек не разливалось. Дальше был черный провал не вниз, а во все небо и во всю землю, во всю безмерность пространства. Черный провал. И над ним высоко по вертикальной линии три красных фонаря.

– Будет шторм, – сказал кто-то.

Но никому это пояснение не было нужно. Ужас не в том, что будет шторм. Ужас в черном провале и висящих над ним, как бы осеняющих его или воплем кричащих красных огнях...

Никакое логическое рассуждение не расскажет человеку так безысходно явно все о нем самом, как вот такие огни.

– Да, – сказала Наташа. Это значило, что она поняла.

Она одна на свете, в одиночестве позорном, потому что брошена и потому что не сама это одиночество избрала.

И раньше, и всегда была она одна. Никому не нужная, не интересная. Манекен для примерки чужих платьев.

Жизнь ни разу не коснулась ее. Война, революция – все прошло мимо. Все отозвалось только как холод, голод и страх.

Пришла любовь и дала душе ее тоже только холод, голод и страх. И в любви этой была она одна. Одинока.

Гадалка предсказала, что она поплывет на родину. На родине чудеса и Христос приходит на зов... Только ведь она, пожалуй, и там будет лишняя и чудес не узнает. Слышать о них будет, а сама ничего не познает. Душа у нее скучная...

Прижалась она сейчас к этому подъезду кинематографа, расцвеченному уродливыми разляпантыми плакатами. Стоит в его жиденьком желтом свете... Но вот уж и он гаснет. А дальше – то, черное, глубокое, безмерное...

<sup>63</sup> Долгие страдания ведут к изменению сущности. М. Пруст (фр.)

Потом начались сны. Сны несчастных всегда удивительны и всегда много страшней жизни.

Бодрствующий разум так преданно «подхалимно» служит человеку, подправляет, успокаивает, подвирает где нужно, не верит, когда можно.

Спящий оставлен без этой верной охраны. И к нему, беззащитному, подкрадываются темные ползучие ужасы, опутывают его как свою добычу и овладевают им. Иногда они так сильны, что разрушают всю дневную работу почтенного разума, и человек перестает верить дню со всеми его прекрасными возможностями и твердой логикой и с пути благоразумия покорно и безвольно соскальзывает на путь безумия.

К Наташе приходили сны почти всегда одни и те же. Она все искала какого-то ребенка, которого унесли и где-то мучают.

Вероятно, в этих сновидениях просто отражалось сокровенное ее любви: нежность и тревога за этого «заблудившегося мальчика». Просыпалась, слышала воющий плач сирены и засыпала, чтобы снова бродить по неведомым лабиринтам, и искать, и не находить...

Но в ту ночь, предшествующую знаменательному дню, увидела она сон, непохожий на обычные.

Увидела она старый деревенский дом, где провела свое детство. Увидела большую столовую этого дома и сидящих вокруг накрытого стола.

Сумерки густые, почти ночь. Но огня почему-то не зажигают. И сидят молча.

И вот видит Наташа высокого плешивого старика, различает его пробритый по старинной моде подбородок. На плечах чуть-чуть поблескивают эполеты.

«Дедушка! Покойный дедушка», – узнает Наташа.

И как узнала его, так сразу узнала и других.

Вот прямая, плоскогрудая, на плечах оренбургский платок – тетя Соня. Тоже давно умершая. И в широком кресле сама широкая, низенькая, вся в оборочках и фальборочках и в рюшках – бабушка.

А рядом дальняя родственница, старушонка Пашенька – когда же она умерла? Ах да, еще до войны...

Наташа не успела всех разглядеть, но заметила, что один прибор пустой, и тут же поняла, что все ждут именно этого гостя, который не приходит, и потому так напряженно и молчат.

И вот дедушка говорит:

– Чего же мы ждем, *ma chere*<sup>64</sup>? Почему не начинаем?

– Маруси еще нет, – прошамкала в ответ бабушка.

«Кто же такая эта Маруся? – подумала во сне Наташа. – Я ведь Маруси совсем не знаю».

– А когда же она прибудет? – снова спрашивает дед.

Наташу страшно волнует слово «прибудет». Это долгое, гулкое «у» – «прибу-у-у-уудет» – заключает в себе что-то особо страшное. Или это вой сирены вошел в ее сон?..

– ... числа, – отвечает чей-то голос с другого конца стола.

Наташа не поняла цифры. Она слышала, но как-то не поняла и тотчас проснулась. И, проснувшись, мгновенно забыла весь сон. Осталось только какое-то особое тоскливое беспокойство, новое, которого раньше не было.

Уже светало, и она решила больше не спать. Ее знобило, болела нога. Надевая чулки, она заметила, что сустав около большого пальца распух.

– Подагра?

Долго с ужасом рассматривала свою прелестную ногу с подкрашенными лакированными ноготками.

– Надо зайти в аптеку, спросить какую-нибудь мазь.

---

<sup>64</sup> Моя дорогая (*фр.*).

День начался яркий, солнце прыгало по стеклам, быстрое, веселое. Можно было пойти на пляж и просто прогреть как следует больной сустав. Купаться, конечно, нельзя. Она чувствовала себя совсем простуженной.

Веселый день говорил, однако, о том, что надо жить на свете и что-то для этой жизни предпринимать.

За комнату заплачено еще за пять дней. Если ехать через пять дней в Париж, то не хватит даже на билет третьего класса. Добраться до Парижа и там постараться продать кое-что из платьев?

И вдруг вспомнился голландец. Как глупо, что она его так забросила. Надо сегодня же пойти в «Pavilion».

Она надела очаровательное платьице, которое еще ни разу здесь не надевала, зеленое, с вышитыми серебряными и золотыми рыбками, и пошла в парикмахерскую. Нога болела, знобило, но день кричал, что надо жить.

Куафер попался какой-то неладный, подпалил прядь около уха.

Рядом причесывалась миловидная барышня, поворачивала стриженую головку на тонкой шейке, и Наташе вдруг надоели ее упругие локоны.

– Остригите меня, – сказала она.

Куафер радостно защелкал ножницами: четыре раза в воздухе – один в волосах.

«Нехорошо, – думала Наташа. – Очень темное у меня лицо, точно из больницы».

Барышня рядом была рыженькая. Не выкраситься ли?

Куафер очень одобрил эту мысль.

– В бронзовых английских тонах фрейлен будет очень фajn!

Да, вышло хорошо.

Наташа медленно поворачивала перед зеркалом свою позолоченную змеиную головку. Какие огромные глаза! Она с истинным восхищением рассматривала и расчесывала свои ресницы, очерчивала красным карандашом нежный рисунок рта. Радовалась, что видит себя такой красивой и, главное, совсем новой. Ах, как хорошо, что можно сделаться новой!

Она пошла на пляж, глядя на свое отражение во всех окнах.

## 23

*Il n'est guère de drame passionnel, suicide ou crime, dont les causes  
apparents ne semblent bien légères.*  
*Fr. Mauriac*<sup>65</sup>

Несмотря на яркое солнце, день был холодный, ветренный. Поэтому и купальщиков было мало.

Наташа выбрала местечко подальше от публики, сняла башмак и чулок с больной ноги.

Песок был холодный, и ее сразу стало знобить, но она долго пролежала так, усталая, в полудремоте.

Кричали чайки. Мелкими звоночками перезванивали детские голоса.

Толстый аббат, с серым мягким лицом старой нянюшки, прошел со своим молодым другом. Наташа уже встречала эту парочку. У старика были сентиментальные голубенькие глазки. Друг его, тоже священник, с плоской сутулой, как вопросительный знак, спиной, с непомерно длинной талией, напоминал фигурой цирковую собаку в юбочке, стоящую на задних лапах. Лицо у него всегда было надменно приподнятое, глаза подчеркнута целомудренно опущены. На шее под затылком – глянцевиные лиловые прыщи.

Старик остановился недалеко от Наташи и долго восторженно говорил о чем-то, указывая на небо и море.

Молодой слушал, не поднимая ресниц, и вдруг исподтишка метнул опущенным глазом на Наташину ногу, быстро, точно стащил и спрятал.

А старик все говорил о небе.

На небе в это время свершалась мистерия: неслись белые воздушно-облачные видения, туда, к горизонту, где залегло темное, неподвижное и неумолимое. Белые видения гасли, таяли, умирали и все-таки не останавливали своего жертвенного стремления...

Наташа заснула без сна, лишь в каком-то тихом звоне, и проснулась внезапно, точно кто позвал ее, и открыла глаза.

Прямо к ней, тяжело и осторожно шагая толстыми голыми ножками, шел крошечный рыжий мальчик. Он смеялся веселыми глазками, и верхняя губка его надулась, словно припухла, и маленькие ямочки дрожали в углах рта.

Глядя на это приближающееся к ней ужасное своим сходством милое личико, Наташа задрожала от отчаяния. Она вытянула руки, словно защищаясь от страшного призрака, и голосом ночных кошмаров, срывным и придушенным, закричала.

– Прочь! Прочь! Не хочу! Прочь!

Испуганный ее криком ребенок остановился, сморщил глаза и нос, и губки его посинели от плача.

А Наташа упала грудью на песок и зарыдала громко, с визгом, вся трясаясь и дергаясь.

Пляж уже начал пустеть – наступало время завтрака, когда она пошла домой.

Распухшая нога болела, и Наташа присела на скамейку берегового бульварчика.

– Она?

– Не может быть...

Голоса были русские.

– Она!

– Наташка – ты?

---

<sup>65</sup> Это вовсе не страстная драма, преступление или самоубийство, видимые причины которых кажутся сложными. *Фр. Мориак (фр.)*

Перед ней загорелые, черные, как арапчата, стояли Шурка и Мурка. Круглые их глаза глядели на нее испуганно.

– Господи! Да что же это с тобой? – ахала Шурка. – Какая ты страшная! Рыжая, зареванная!

– У меня нога болит, – жалко улыбнувшись, ответила Наташа.

– Господи! Она стала рыжая оттого, что у нее нога болит! Ничего не понимаю. Деньги-то у тебя есть?

– Не беда, – прервала Мурка. – Мы здесь танцуем в «Павильоне». Через пять дней получаем деньги и – марш в Париж. Тогда мы вас прихватим с собой...

– Да как тебя сюда занесло? – продолжала удивляться Шурка. – А Манельша тебя по всему Парижу разыскивает.

«Манельша... разыскивает, – пронеслось в голове Наташи. – Ах да! Костюмы...»

– С чего же она взяла, что я... – пробормотала она.

– Именно решила, чтоб тебя, – радостно прервала Шурка, – Брюнето женился на Вэра. Открывают свою мастерскую. Вэра утащила у Манельши все лучшие модели, которые сама показывала и которые ты показывала. Но Манельша не желает подымать никакого скандала и надумала сделать тебя директрисой. Говорит, что ты очень дельная и очень приличная, словом – влюбилась в тебя. А ты тут нюнишь!..

– А Любаша-то бедная! – прервала ее Мурка. – Какой ужас!

– А что? – устало спросила Наташа.

– Как – что? Разве ты не знаешь? Господи, она ничего и не знает! Все газеты только об этом и пишут. Зарезали ее.

– Задушили, а не зарезали. С целью грабежа, – вставила Мурка.

– Не с целью грабежа, – перебила Шурка. – Там как-то иначе по-юридически... С целью симуляции грабежа... Вот как.

– По подозрению арестован Жоржик Бублик – знаешь? Ну, наверное, знаешь.

Обе торопились, перебивая друг друга.

– Настоящая фамилия – Бубелик. Это так прозвали Бублик, а он – Бубелик. Латыш, что ли.

– Не латыш, а латвийский подданный. Это разница. Да вы его, наверное, знаете...

– Все лето таскался за Любашей по всем ресторанам, такой подлец! Стой, Мурка, у тебя же была газета... та, французская... Да посмотри в сумке.

Мурка раскрыла вышитую купальную сумку, набитую всякой балетной требухой.

– Да ведь была же! – волновалась Шурка.

– Постой, а это что?

Мурка выхватила из рук Шурки газетный сверток и, вытащив из него грязные балетные туфли, развернула.

– Ну кто же ее знал, что это та самая, – сконфуженно пролепетала Шурка. – Ну вот... смотри. Это «Matin». Вот «Gueorgui, Georges Bubelik». Вот он... смотри...

Голова... голая шея без воротничка, странно, точно от холода, сжатые плечи...

– Гастон.

Наташа устало смотрела на это лицо. Она была совсем спокойна. Как будто ей снова и снова рассказывают давно ей известную, совершенно для нее постороннюю историю. Только сердце колотилось отчаянно – но оно жило своей жизнью, и это биение его было чисто физическое, потому что душа ее была совершенно спокойна.

Больше всего в настоящий момент интересовало Наташу ее собственное лицо. Ей почему-то казалось, что оно улыбается, и она со страшным усилием сжимала губы.

«Как это странно! Почему я так?»

– Да, да, латвийский подданный, – перебивая друг друга, тараторили Шурка и Мурка. – Латвийский, без определенных занятий. Двадцати двух лет.

И вдруг обе вскинулись:

– А репетиция-то, господи!

– Наташка! Приходи вечером в «Павильон». Или завтра на этом месте в одиннадцать.

– Нет, лучше приходите сегодня! Поболтаем, – говорила Мурка, машинально заворачивая туфли снова в ту же газету.

Наташа осталась одна. Закрыла глаза. И вот опять Шурка перед ней:

– Наташка, ты, может быть, расстроилась? Я сейчас только вспомнила, что он и за тобой бегал. А? Да ты плюнь. Такой мерзавец, он и тебя мог бы. Иди, голубка, отдохни! А я бегу...

\* \* \*

«Значит, так, – думала Наташа. – Он убил Любашу, чтобы ограбить и вернуться ко мне. Тогда его казнят. Или он убил из ревности?»

Она вспомнила обрывок письма. Ведь он сорвался ехать именно после этого письма.

Тогда его оправдают.

Его оправдают, но он – вернется ли он к ней? Он, значит, все время любил баронессу, однако был с ней, с Наташей. Значит, опять вернется к ней.

Но лучше всего, если убил из-за денег и сумеет вывернуться. Нужно, чтобы было так: убил из-за денег, но доказать, что убил из ревности.

Она, Наташа, может ему в этом помочь... Она покажет этот обрывок письма, может приписать что-нибудь.

Это так. Но сейчас важнее всего другое. Важнее всего понять, установить для самой себя: любил ли Гастон баронессу?..

Вспомнился разговор в дождливый день в ресторанчике: «Но если заставить такую женщину полюбить...» Так, кажется, он сказал... «То нет высшего блаженства на свете». Да, да. Он сказал именно так. Но пожалуй, что она-то его и не любила, а он только надеялся и представлял себе это «высшее блаженство».

Что бы там ни было, надо сейчас же ехать в Париж. Откладывать на пять дней невыносимо.

И еще одна возможность: ведь он арестован только по подозрению. Может быть, убил-то и не он?

Но они там будут снимать отпечатки пальцев, увидят его страшные руки.

«Любаша задушена!» – сказала Мурка.

Усталость и скука. Так давно, давно она все это знала, что теперь, узнав в окончательный и последний раз, не чувствует ничего, кроме смертельной усталости и скуки.

Не печаль, не тоска, а вот именно то чувство, когда все то же самое долбит без конца, без конца...

Только вот сердце бьется так, что дышать трудно. Сердце само по себе, по своей воле отмечает что-то последнее и окончательное. Да еще этот странный смех, который растягивает ей губы и с которым она никак не может сладить.



## 24

*La vie n'est qu'une ombre errante... C'est un conte, dit par un idiot, plein de fracas et de furie et qui ne signifie rien.*  
*Shakespeare. Macbeth*<sup>66</sup>

Да. Ждать еще пять дней невыносимо. Надо сейчас же ехать в Париж. И главное, не теряться, ничего не забыть и ничего не перепутать, иначе она погибла. «О том» сейчас думать не надо. Сейчас надо ехать в Париж. Денег нет. А голландец? Немедленно идти в «Павильон». Сейчас время завтрака. Он там.

И она, спеша и спотыкаясь, побежала в ресторан.

Метрдотель не сразу ее узнал – так изменилась она от новой прически, от красных пятен на щеках, от заплаканных глаз – и, не узнав, повел на другую сторону террасы, но она, быстро повернувшись, направилась к своему обычному месту.

В ресторане было пусто. И главное – столик голландца был пуст.

– Где этот господин? – спросила Наташа и сама удивилась, как громко она говорит.

– Ist nicht da<sup>67</sup>, – ответил лакей.

И она сейчас же вскочила со стула, на который уже успела сесть, и бросилась к выходу.

Теперь было уже совершенно ясно, что голландец на пляже. Он, значит, сегодня купается дольше обыкновенного. Надо бежать на пляж, не теряя ни минуты. Тогда она еще сегодня успеет уехать.

На пляже было уже совсем пусто. У самой воды одевалась какая-то личность из тех, что не берут кабинок, а купаются в тихое время прямо с берега. Личность напяливала белье на мокрое трико, и ветер вздувал парусом белую рубаху.

Подальше человек десять мальчишек, громко крича, гонялись друг за другом стаей мелкой рыбешки.

«Это, верно, русские мальчишки из моего сна», – подумала Наташа и озабоченно покачала головой.

«Сны входят в жизнь. Да. Вот уже сны входят в жизнь...»

Она быстро разыскала свою кабинку, разделась и натянула купальный костюм. Трико показалось холодным и сырым, и ее всю затрясло.

«Боже мой, до чего я больна! А ведь сегодня надо ехать...»

Она старалась «главное ничего не забыть и ничего не перепутать». Сейчас нужно было найти голландца и взять у него денег.

Она вышла из кабинки и пошла к тому месту, где они обычно купались, но по дороге споткнулась о вырытую детьми горку, упала на песок, закрыла глаза и точно мгновенно заснула. Может быть, всего на минутку. Но когда очнулась, сразу увидела своего голландца. Он стоял довольно далеко, пожалуй, дальше того места, где они всегда купались, и, очевидно, подстерегал момент, когда она откроет глаза, потому что сразу же сделал свой обычный пригласительный жест, склонив голову и вытянув руки, и тотчас исчез. Очевидно, прыгнул в море...

Наташа вошла в воду. Вода была холодная и странно сильная и упругая. Не пускала к себе. Тяжело ударила в сердце, когда Наташа легла на волну. Но зато потом подняла ее и понесла на себе легко и свободно.

---

<sup>66</sup> Жизнь – только блуждающая тень... Это сказка, рассказанная идиотом, которая полна скандалов и ярости и которая ничего не значит. У. Шекспир. «Макбет» (фр.)

<sup>67</sup> Его нет (нем.).

Голландца не было видно. Но справа гулко плеснуло – значит, он нырнул и сейчас, проплыв под ней, вынырнет слева. Обычная его игра.

Быстро почувствовав усталость, Наташа повернула к берегу.

Берег оказался дальше, чем она предполагала.

«Неужели я так долго плавала?»

Слева мелькнула рука голландца. Наташа повернула на этот знак. Но рука мелькнула снова уже справа, потом совсем далеко впереди блеснули ледяные стекла его пенсне.

«Пожалуй, все это мне кажется».

Но берег уходил все дальше. Это уже не казалось.

«Что же это такое?.. Ведь плыву-то я к берегу...»

Она посмотрела вниз, в мутное зеленое пространство. Увидела свое, сокращенное водой, маленькое, беспомощное тело, нежные, янтарного цвета ножки. И ей стало жаль этого беззащитного существа, судьбу которого она так давно, давно знала...

Она подняла голову. Да. Берег уходит от нее.

«Меня уносит в море, – спокойно подумала она. – Ну что ж... Надо все-таки плыть к берегу».

Справа, довольно близко, показался пароход.

«Если он пройдет между мной и берегом, перережет мне путь и поднимет большую волну – мне не выплыть».

Пароход перерезал ее путь, направляясь к гавани, но волны не поднял, и Наташа поняла, как далеко отнесло ее от берега.

«Должно быть, я утону», – все так же спокойно подумала она.

И тут ей показалось, что нужно непременно что-то сделать такое, что всегда все делают, а она вдруг забыла. Что же это? Ах да – надо помолиться.

– Господи! – сказала она. – Спаси, помилуй и сохрани рабу Твою Нат... Да ведь не Наталья же я! Я Маруся, Мария...

И тут сразу же мгновенно вспомнила свой предутренний сон.

«Маруси еще нет», – шамкала бабушка.

«А когда же она прибу-у-удет?» – спрашивал дед.

Вот оно, это «у-у-у», так испугавшее ее во сне. Это «у-у-у» – это море. И как же она не поняла, что Маруся и есть она. Но теперь уж совсем не страшно. Теперь только смертельная усталость. А что они ждут, так ведь это хорошо. Это очень хорошо, что и ее кто-то где-то ждет.

Но сейчас все-таки надо плыть. Надо доработать свое заказанное, положенное на земле.

Она снова заглянула вниз, в зеленую бездну, снова увидела висящее над ней крошечное свое тело.

И ничего не было на свете. Ни жизни с Гастоном, ни любви к нему, к Госсу, к заблудшему мальчику, ни ужаса последних часов – ни-че-го. Она только спокойно удивлялась, как могло все это быть таким значительным и страшным!

Может быть, она еще и доплывет до берега. Но и это особого значения уже не имело.

И все-таки что-то нужно было. Выполнить какой-то старинный, далекий, вековой завет. Да... перекреститься нужно. Перекреститься. Просто: во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Она подняла руку, и тотчас острая, жгучая боль ударила ее в дыхание, обожгла мозг, зеленым звоном заполнила мир.

И она еще раз дернула головой, ловя воздух.

Шторм продолжался два дня.

Суровый пахарь трудно водил тяжелым своим плугом, резал упругую сине-зеленую почву, и она, вздымаясь, опадала белой пылью в глубокие борозды.

На третий день, когда тело Наташи прибило к берегу, к рыбацкой стороне за купальнями, море было спокойно и вечер, осененный ангельски-розовым крылом неба, – благостно тих.

Нашли тело рыбаки, спустившиеся к берегу выправить сети.

Сынишка одного из них, увидев издали приподнятую головку Наташи, маленькую в облепивших ее коротких волосах, побежал к дому, радостно крича:

– Мальчика поймали! Мальчика поймали!

Этот серебряный детский голосок так чудесно прозвенел в вечернем затихшем воздухе, что стоявший на берегу толстый патер улыбнулся и повернул свое доброе лицо старой нянюшки к молодому другу.

На пляже было почти пусто. Публика, напуганная плохой погодой последних дней, очевидно, разъехалась. Несколько немцев, пожалуй уже из местных жителей, сидели с газетами, подстелив коврики на сырой песок.

– Дело вступило в новую фазу, – сказал один из них, обращаясь к приятелю. – Арестован муж баронессы, дегенерат, почти идиот, живший на средства своей жены. «Со дня убийства, – начал читать немец, – барон ведет себя очень подозрительно. Он непрерывно смеется...»

Патер отвел своего друга подальше. Ему не хотелось, чтобы молодой человек слушал детали этой грязной парижской драмы дегенератов, великосветских кокоток и сутенеров.

Он показал ему розовую даль, обещающую чудесное счастье, и долго говорил о том, что день создан тоже по некоему образу и подобию, потому что рождается, живет и умирает. И что смерть сегодняшнего дня особо прекрасна, тиха и кристальна. Тихость моря, и благодать неба, и даже мирный человеческий труд – вон там несут рыбаки что-то темное, должно быть, улов вечерний, – и серебряный радостный голосок ребенка...

– Чудесна смерть твоя, отходящий день!

И так как был он не только сентиментальный поэт, но и священник, то, подняв руку как бы для благословения, произнес последние слова, обращаемые на земле к отходящему:

«In manus Tuas, Domine»<sup>68</sup>.

---

<sup>68</sup> «В руки Твои, Господи» (лат.).